

Николай Климонтович

ПОСЛЕДНИЕ НАЗИДАНИЯ

Роман

Москва
Издательство «БПП»
2010

Оглавление

Вместо посвящения.....	3
Как упасть с луны.....	5
Как произнести Л и Р.....	19
Как узнать, где раки зимуют.....	26
Куда девать старье.....	35
Как дать петуха.....	46
Как удержаться в седле.....	55
Как собрать скелет.....	67
Как достать оружие.....	78
Как кормить рыбок.....	88
Как крутить любовь.....	99
Как сыграть принца.....	109
Как жизни не жалеть.....	120
Как грибы сушить.....	132
Как в бассейне не утонуть.....	143
Как не бояться высоты.....	152
Как знакомиться с достопримечательностями...	161
Как Хлебникова читать.....	172
Как волка приручить.....	181
Как держать стакан.....	191
Как подтвердить аттестат.....	206
Как стоять в очередях.....	215
Как девок водить.....	224
Как греха бежать.....	231
Как делать аборт.....	240
Как уйти красиво.....	249

Вместо посвящения

Меня спасла рассеянность отца. Потому что, прибыв на дачу, он вспомнил, что оставил предназначенные мне деньги в запертом кабинете, и на другой день приехал меня выручать...

Я не помню сейчас, что следовало за чем, но знаю только, что, как водится, раньше “скорой помощи” прибыла милиция. В приемном покое отделения травматологии Первой градской на каталке у стены коридора лежала седая женщина, у которой было вдребезги разбито лицо. Здесь же сидел парень, то и дело наваливаясь на мать, которая выглядела деревенской старухой, хотя наверняка была не старше моей матери. Та поминутно стирала у сына со лба пенящийся кровавый пот. Стыдясь смотреть на чужие несчастья, когда сам оказался в беде лишь по собственному капризу, я вспомнил, как отец спас мне жизнь в первый раз.

Летом мы жили в палатках в расщелине на берегу моря неподалеку от Геленджика. Мне было пятнадцать, я перешел в девятый класс и томился от скуки в компании дядек-физиков, бегавших в трусах туда-сюда по берегу с подводными ружьями наперевес, их раскрасневшихся жен в купальниках, всегда варивших на костре уху с лаврушкой, всегда жаривших в сухарях на постном масле развалистые куски толстого лобана, всегда мывших эмалированные миски, и их слабозрелых и малоразвитых для меня детей.

От безделья я днями плавал в море. Однажды меня напугал дельфин. Он неожиданно шумно вынырнул рядом со мною из пучины, играя и едва не касаясь мое-

го тела, и это внезапное появление морского чудовища поначалу вызвало у меня панику. Наверное, дельфин понял, что имеет дело с пугливым идиотом, и исчез так же, как возник, а я, придя в себя, долго звал его и пытался отыскать в океане. Все было тщетно, и я поплыл, почувствовав себя ихтиандром, поплыл вдаль, пересекая бухту, туда, где в палатке с подругой и мужем подруги жила одинокая студентка из Иванова с большими бедрами и маленькой грудью, с которой я познакомился, когда мы с отцом и с его другом, свердловским физиком Кобелевым, ходили в поселок за продуктами. Поселок назывался мило — Криница.

Я хорошо плавал, к тому же на мне были ласты, но, преодолев эти пять километров, совсем выдохся и на берег буквально выполз — к ногам предмета подвига. Студентка из Иванова — что-то связанное с текстилем — несколько удивилась, но налила мне горячего супа, дала чаю и шоколадку. Больше не дала ничего, хоть мы и ходили вдвоем гулять в цепкие и колючие заросли дикого кизила. День клонился к вечеру, как сказал бы эпик, мне пора было домой, где меня, как я понимал, не представляя, конечно, всей картины, уже хватились. Но нечего было и думать идти босиком километров двенадцать по горячим и острым камням. Оставалось опять плыть.

Конечно, на этот раз я непременно утонул бы. Мы уже обменивались долгим прощальным платоническим поцелуем с текстильщицей, как появились мой отец и Кобелев, белые лица которых вмиг порозовели, когда они увидели меня живым. В руках отец нес мои тапочки. То есть он до последнего не верил, что меня погло-

тило море, хотя это казалось очевидным, к тому же тут сработала интуиция заправского холостяка Кобелева, который так и сказал: да нет, Юра, он хорошо плавает, просто пошел по девочкам... И был по-своему прав.

Как упасть с луны

Во всем был виноват первый и последний Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Здесь важно, что именно всемирный, раз одноименная революция не задалась. Слухи о нем поползли много раньше, чем на московскую землю впервые ступила нога человека в джинсах. Слухи были противоречивы, но угрожающи. Жители главной в мире страны социализма сомневались, не привезут ли капиталистические иностранцы с собой и на себе тучи невиданной доселе заразы. Поговаривали о возможных новых отравлениях колодцев. Особенные гигиенические подозрения внушали негры и желтые, но не те, конечно, с которыми братья навек, тех на фестивали не пускали. Никто толком не знал, какие именно нам грозят страшные болезни, но в том, что придет неведомая напасть, не сомневались. Так наглухо отгороженная страна не радовалась предстоящей встрече с внешним миром, но, напротив, томилась от страха. Возможно, с подобным чувством выходят на волю после долгого заточения, жмурясь от солнечного света и ежась от свежего воздуха, подавляя желание бежать обратно к воротам тюрьмы. Кто распускал эти слухи? Недруги Хрущева, затаившиеся сталинисты, для которых происходящее было форменным кощунством? Или слухи рождались сами, исторгаясь из гущи масс,

дрожащих и запуганных, ведь перспектива столкнуться нос к носу с коварным врагом, еще вчера грозившим атомной войной — так многие годы писали в газетах — и неустанно засылавшим к нам шпионов, должна была казаться тяжким испытанием. Так или иначе, но перед лицом нависшей над страной опасности нужно было готовиться к худшему и прятать детей. Меня спрятали на даче, куда отправился на лето университетский детский сад.

До этой оказии ни в каком саду я никогда не бывал. По моему рождению бабушка оставила работу, даже не добрав до пенсии, чтобы дать матери спокойно окончить институт, а отцу защитить диссертацию. Странное дело: бабушка свободно владела тремя европейскими языками, ее муж родился в Далмации, учился в Женеве, десять лет жил в Америке и стал американским гражданином, приехал в Россию с весьма неясными социал-демократическими намерениями лишь перед первой мировой войной. И здесь нашел себе молодую сочувствующую жену-курсистку. Деда с конца тридцатых, ясное дело, на этом свете не было, но, казалось бы, бабушка должна была оставаться европейкой — хоть из памяти о муже, личные дневники писавшем по-итальянски. Но она никогда за свою долгую жизнь за границей не была, если таковой не считать Харьков, где одно время после революции, поучаствовав в Малой Раде, подвизался дед — поляк по отцу, — сочиняя сугубо романтическую книгу о всемирной кооперации. Экземпляр этой книги удивительным образом выжил в семье, я еще расскажу, каким именно. Я пролистывал эту книжку, в ней дед все больше упирал на пример отчего-то Австралии, где, ес-

ли верить ему на слово, фермерская кооперация была поднята на невиданную высоту... Так вот, в бабушке, по-видимому, европейские веяния за годы эвакуации оказались перебиты советскими миазмами, и была она вполне здешним человеком, что нисколько не мешало ей, конечно, всей душой ненавидеть коммунистическую власть. Так что слухам о грядущих потрясениях, к которым непременно приведет проведение этого международного феста, как сказали бы нынче, она тоже с неохотой и оговорками, но поддалась, иначе ни в какой детский сад меня никогда не уступила бы.

А ведь прав был народ в своих предчувствиях: потрясения наступили, только со стороны неожиданной, и болезнь оказалась совсем другого рода, а диагноз — не медицинского ряда. Страна будто очнулась, отряхнулась, судорожно глотнула сквозного ветерка и принялась в массовом порядке слушать голоса, за что уже перестали сажать; иностранцы приезжали все чаще и гуще, зеленая молодежь училась фарцевать, выменивая значки с юным Лениным с кудрявой головой — на жвачку, многие уже держали в руках или хоть видели издали зеленый доллар, по делу валютчиков расстреляли несколько человек, подслушав их разговоры в ресторане Арагви, — так говорила героическая легенда об этих ранних предвестниках перестройки, — задним числом приняв соответствующий закон, и Советский Союз надолго выпал из мирового правового пространства; стилиаги (по аналогии с бродяги или доходяги) пошли гулять по Невскому и по Броду, их укорачивали — от вихров до штанов, тунеядцы (то есть люди, вкушающие яства втуне) на Чистых прудах, согласуясь со своей

этимологией, съели общественного лебедя Борьку, кончалась оттепель, развивался застой, который и обернулся через полтора десятка лет новым приступом русского капитализма, и где-то в самом начале этого исторического процесса окончательного прощания с тоталитаризмом я, пяти лет от роду, оказался на детсадовской даче, вкушая свободу вместе со всем народом. Свободу в том смысле, что никогда до этой неожиданной ссылки дальше, чем на пару метров, от бабушкиного подола не отходил.

Конечно, я не понимал, отчего подвергся столь жестокой каре. За какие грехи я, безгрешный, оказался оторван от бабушки и матери, а также от отца — нечастого, впрочем, гостя, поскольку он преимущественно обитал в областях для меня чудесных, но редко доступных — а именно на улице Грицевец, в самом центре Москвы. Но и наша с бабушкой комната в Химках, откуда я был нежданно исторгнут, была хороша: и рыжий кот, и плюшевый мишка, и ширма с китайскими пагодами, и сказки Гауфа, которые бабушка переводила мне вслух с подлинника, и даже печальный рыбий жир для роста, уравнивавшийся веселым гоголем-моголем, и палисадник с рядкой анютиных глазок, и аллея тополей, и каким-то образом выживший огромный огороженный совхозный, как его называли химкинские обыватели, яблоневый сад со сторожем-татарином, вооруженным берданкой с солью, и площадка для городков перед сараями, и старьевщик на телеге с впряженной в нее рыжей же клячей, посещавший раз в неделю этот уголок земли...

Убей не помню, где эта самая дача располагалась, где-то в недалеком Подмосковье. Но помню лес, помню речку, помню одинокий зеленого цвета дом из досок, деревянные крашеные щелястые полы в сенях, огромную комнату, уставленную маленькими кроватками в четыре ряда — здесь обитали малолетние воспитанники, а столовая была в пристройке, довольно симпатичной и чистенькой, с тускло блестящими пестрыми клеенками на столах, с занавесочками в цветочек. Нас, штук тридцать детишек, прогуливали на зеленой светлой поляне, которая наклонялась к реке, густо и темно обросшей. На прогулках бегали стайками, как мальки в реке, толкали девочек. Был у нас свой Толстый, здоровый глупый от доброты бутуз; однажды он нашел огромную сухую ветку — мне такую было не поднять, — разыскал проем между кустов, где берег спускался к самой реке, и принялся шумно лупить своей корягой по воде, шугать, как он объяснил, за что был подвергнут наказанию, поскольку воспитательницей было настрого сказано к воде не ходить, а именно — лишен киселя.

Я не помню сейчас имени этой воспитательницы, но было оно жесткое для произношения, что-то вроде Инга или Инна, так ее и назовем, но помню ее лицо. Даже мне было понятно тогда, что она молодая — хоть в сравнении с моей матерью. И очень красивая. Я запомнил, что у нее были темно-русые в мелкий завиток волосы, сросшиеся брови и ясные очень голубые близорукие глаза и что она никогда не улыбалась. Ее подопечные были в безраздельном ее распоряжении, поскольку кроме нее на даче были еще только нянечка с поварихой да сторож с одной ногой, поварихин муж, по

совместительству и сантехник, и истопник, и монтер, а воспитательница была главной, то есть не только наша, но и их начальница.

Конечно, были в нашей группе девочек и мальчиков и закоренелые детсадовцы, но большинство, кажется, были детьми домашними, без опыта пребывания в казенном доме, попавшие сюда из-за той же неожиданной оккупации иностранными непроверенными молодежными студентами советской столицы. Поэтому жестокая кара, постигшая глупого Толстого, произвела на этот, домашний, контингент гнетущее впечатление. Дело в том, что после долгих лет голода, который пережили наши родители, главная воспитательная заповедь в советских семьях, причем отнюдь не только еврейских, где она была всегда, гласила: чтобы ребенок хорошо кушал. Поэтому какие-либо ограничения по части корма никак не входили в перечень наказаний, которые сводились чаще всего к стоянию в углу или а то гулять не пойдешь, а в семьях попроще — к обычной порке. Но кисель был как бы неотъемлемым приложением к неременной манной каше, неким незыблемым знаком хорошокушания, и изъятие его из меню Толстяка показалось нам грозным предзнаменованием того, что так просто нас отсюда не выпустят. Что говорить, мы не знали еще, сколь подвижно и игриво окажется воображение нашей новой воспитательницы и властительницы, на долгие месяцы призванной заменить нам и бабушку, и родную мать.

Самой распространенной провинностью в этом детском общежитии было, разумеется, ночное подтопление постели. Легкой формой наказания было публич-

ное предъявление загаженных простыней, когда виновник шел со своим мокрым бельем перед строем таких же, как сам, зассанцев. Но это был лишь первый этап воспитания, потому что рецидивистам бывала уготована форменная гражданская казнь, иначе не скажешь. С кухни повариха несла сухой горох, его посыпали на стол, штрафник нагишом ставился на горох на колени на самом виду товарищей, а в руки ему вручался ночной горшок, который он должен был держать над головой. По-видимому, в уме воспитательницы уже тогда торжествовали идеи феминизма, поскольку девочки и мальчики при экзекуциях были уравнены в правах.

Она не была кровожадна. Помимо процедуры такого-то на горох, как она командовала при затаивших дыхание юных зрителях, уже занявших свои места по кроваткам, других наказаний — кисель не в счет — она не знала, если не считать щипков, подзатыльников, а иногда и пощечин. Мы все любили ее, ведь перед сном после спектакля с горохом и горшками она, как заправская нянюшка, читала нам сказки, предварительно надевая очки, и в очках становилась и уютна, и мила. Перед чтением она спрашивала риторически: хотите страшную сказку? Все наперебой хотели. Репертуар у нее был таков: кое-что из Диканьки — Страшная месть была ее любимым произведением, или что-нибудь из Гриммов, тоже вампирическое, но мне, закаленному Гауфом, все это было как слону дробина, и даже из Тысячи и одной ночи, подо что мы сладко засыпали. И еще она любила читать Приключения Бибигона Корнея Чуковского. И этот Бибигон не то чтобы пугал меня, но казался малосимпатичным и даже опасным, и познако-

миться с ним мне бы не хотелось. Что-то дворовое, неумное и разбойное было в этом герое, он как бы воплощал в своем поведении улицу, на которую запрещала ходить бабушка, хотя я, конечно, не мог разобраться в ничего хорошего не сулящей этимологии этого имени. Привлекала меня в нем лишь одна черта его биографии — а именно то, что он свалился с Луны. Я это дело представлял себе по аналогии с падением с кровати. То есть этот самый хулиганистый Бибигон спал на Луне, во сне дрыгал ногами, а потом свалился вниз и угодил в какое-то неведомое Переделкино, которое точнее было бы назвать Прodelкино. Потому что Бибигон, едва там оказался, стал скакать верхом на утятах и на петухах, грозил обезглавить индюка по имени Брундуляк, а потом столкнул его в канаву, сам упал в миску с молоком и плавал в дырявой галоше, что было уж совсем глупо. И в довершение всего танцевал, не поверите, с крысой. Да-да, наша воспитательница читала с чувством:

И засмеялся Бибигон,
И в тот же день умчался он
В соседний двор на сеновал
И там весь вечер танцевал
С какой-то крысою седой
И воробьиной молодой...

Она возвращалась к этому злосчастному Бибигону не раз, чаще, чем к Страшной мести, и мне стало казаться, что Брундуляк и есть тот самый колдун, отец малохольной Катерины, на что в тексте Чуковского были намеки. И, читая в десятый раз этот сомнительный шедевр автора Футуристов и эгофутуристов, а также Цокотухи,

вдруг расплакалась, когда в который раз декламировала строчки:

Вон погляди, стоит Федот
И жабу гонит от ворот,
А между тем еще весной
Она была его женой.

И вот однажды, смахнув набежавшие за чтением слезы, она торжественно сказала:

— Дети! Если вы будете хорошо себя вести, мы поедем с вами в Переделкино к дедушке Чуковскому. Дедушка Чуковский очень любит детей. Он рассказывает им сказки и дарит конфеты. Но, чтобы поехать к нему, надо быть очень, очень послушными. А теперь спите.

С одной стороны, что же это за место такое, это самое Переделкино, где Федоты женятся на жабах! Но с другой — посул был баснословен, шутка ли — к самому Чуковскому! Но особенно важны были даже не дедушкины конфеты, хотя, конечно, и они тоже, и даже не сам дедушка, а мальчик, которого угораздило во сне свалиться с Луны, — тот факт, что это случилось с ним именно во сне, для меня был отчего-то очевиден. Должно быть, за эти обещания, за эти слезы, показавшиеся из-под ее очков, за самые очки, каковыми пользовалась и бабушка при чтении, я тоже полюбил нашу воспитательницу, не находя, впрочем, никакой связи между ней и этим самым Федотом, гонителем жаб, который не был ли все тот же пронырливый переодетый Бибигон, или Бибигоном буду я сам, когда подрасту?

На своей прекрасной зеленой детсадовской даче, переживая Бибигоновы приключения вместе с любимой воспитательницей, тихо плачущей над судьбой пе-

ределкинской жабы, я не мог знать, что бабушка тяжело заболела, оставшись в Химках одна с нашим рыжим котом. Потому что мои родители, сбавив меня на лето, отправились в круиз по Волге-матушке. Они были молоды тогда и очень красивы. Они были впервые счастливы и свободны, поскольку отец стал университетским доцентом и у него завелись свободные деньги. Разумеется, как все счастливые люди, они были поглощены собою. Я отчетливо вижу их на палубе белого корабля, плывущего мимо Калязина с его торчащей из воды ажурной колокольней: мать — в ситцевом голубом сарафанчике в белый горох, в белых же босоножках, русые косы уложены вокруг головы; отец — в широченных белых штанах с манжетами, называвшихся теннисными, в сетчатой синей рубашке с коротким рукавом, в парусиновых туфлях, которые было положено чистить зубным порошком. Я вижу их сходящими по пружинящему трапу с набитыми поперечными брусками — на прогулку по Костроме или Угличу, и отец поддерживает мать под локоть, гордясь своей цветущей, грудастой, с узенькой талией, несмотря на роды, довольной и веселой женой. А ведь бедная матушка так редко бывала чем-нибудь довольна.

В Горьком они сошли на берег. И здесь была предпринята исключительная для моей матери попытка возвращения в прошлое: она не любила архивы и могилы, даже старые письма и спустя годы выбросила на помойку бабушкин дневник, холодно объяснив мне, что это было личное, и я не устаю лить по этому дневнику слезы, догадываясь, что скорее всего про мою мать бабушка писала не всегда комплиментарно... Здесь, неда-

леко от Горького, в городке Ворсма, они с бабушкой и со старшей сестрой оказались во время войны. Бабушка преподавала немецкий язык в сельской школе, моя мать заканчивала восьмилетку, старшая сестра Елочка после окончания школы несла трудовую повинность, работая в поле сцепщицей. Жили у хозяйки. Ели картошку, которую варили на керосинке, с постным маслом. Елочка вскоре умерла от воспаления легких. Бабушка похоронила старшую дочь, взяла самое необходимое и, не дожидаясь конца войны, вдвоем с младшей вернулась в Москву, где у них ничего не оказалось. Скитались по углам, пока бабушка не нашла место учительницы в подмосковной деревне Куркино, на месте которой нынче красуется экспериментальный спальный район и где они жили в брошенном доме приходского священника. Кстати, сама церковь и сейчас стоит с краю, обок экспериментальных высоток — монолит. Когда бабушка нашла место переводчицы для немецких пленных, работавших на какой-то химкинский институт, ей дали эту самую комнату, где сначала появился рыжий кот, а потом и я. Так вот, в Ворсме моя мать решила посетить могилу сестры — не сама решила, конечно, попросила бабушка, — но никакой могилы не нашла. И тогда ей пришлось искать хозяйку, у которой они жили в избе барачного типа за занавеской, и хозяйка эта, как ни удивительно, нашлась. О могиле она ничего не знала, но предъявила матери сундук со спасенным бабушкой дедовым архивом, на растопку старались поменьше брать. Хоть и обглоданный обыском и частично пошедший в печку, архив все равно оказался большим. Увозить его весь мать поленилась, мы еще приедем, взяла

наугад несколько рукописей — отсюда мне известно про дневник по-итальянски,— и две странного выбора книги, ту самую Всесвитну кооперацию и старого издания том писем Тютчева, маме будет приятно. Стоит ли говорить, что никто никогда за оставшейся частью архива так и не приехал... Я же, пока родители шлялись по Руси, из вечера в вечер разглядывал пиписьки товарищей и слушал чтение повести-сказки Корнея Чуковского в исполнении сентиментальной воспитательницы, постепенно свыкаясь с очевидностью, что скорее всего буду здесь жить всегда, что по-своему и неплохо, поскольку скоро мы все отправимся к дедушке Чуковскому знакомиться с Бибигоном.

Родители приехали меня навестить лишь в августе, и случился конфуз. Они стояли за железными воротами, потому что в нашем детском саду, как и во всех других, царил фестивальнй карантин и посторонних на территорию не пускали. Посторонними были именно бабушки, дедушки и родители, поскольку в том возрасте, в котором находился я, других посетителей у людей чаще всего не бывает. Они стояли за воротами, к которым меня подвела воспитательница, красивые и чужие, в каких-то незнакомых обновках. Они улыбались теми фальшивыми улыбками, какими улыбаются дальние родственники какому-нибудь не твердо знакомому маленькому внучатому племяннику, уже нацелившемуся засветить им мандарином в глаз. Я не то чтобы не узнал их — хуже, я их испугался. И с ревом бросился назад, уцепился за подол воспитательницы, стоявшей чуть поодаль с кошелкой, что успели ей передать, и, бурно рыдая, обнял ее колени. Я был в ужасе от того, что меня

сейчас отдадут этим дяде и тете и судорожно цеплялся за воспитательскую юбку, ведь другой защиты у меня не было... Через две недели забирать меня приехала уже оправившаяся после болезни бабушка.

Упоенно врать я начал уже в электричке.

Причем делал это так цветисто, что по приезде домой бабушка попросила меня все повторить: ты только послушай, Светочка, что он рассказывает... Я повторил, но не слово в слово, а с новыми подробностями, попутно отвечая на дополнительные вопросы. Скажем, я рассказал, как нас посадили в автобус и везли сначала через лес, а потом по полю васильков — так потом мне бабушка пересказывала. Откуда в пять лет я уже знал, что правдоподобной любую историю врать делают именно детали? Откуда только взялись эти васильки? Потом мы приехали в Переделкино, где нас встретил добрый и высокий дедушка Чуковский, нет, усов у него не было. Там на поляне уже кипел огромный самовар, который топили еловыми шишками. Было много конфет, печенья, а также баранки. Какие были конфеты? А всякие, но больше других мне понравилась пастила в шоколаде. Зефир? Да, конечно, зефир. Потом... потом из дома вышли две девочки, заливал я, внучки дедушки, как их звали — Тата и Лена. Девочки были с во-от такими бантами, а одна говорила по-немецки... Срезался я, лишь когда дошел до Бибигона и принялся витиевато описывать детали его костюма. Вечером, когда меня уложили за ширму, сквозь сон я слышал разговор взрослых:

— Да, врать он мастак. Такой маленький, но уже весь в отца, — раздраженно говорила мать.

— Но, Светочка, какое воображение. Он определенно будут сочинять.

— Да уж, — согласилась мать.

Зачем я врал, ведь бабушка учила меня быть честным, а рос я послушным мальчиком. Наверное, обида направляла меня. Меня обманула воспитательница и никуда не повезла. А ведь я так доверился ей, что с удовольствием держал свой пустой горшок над головой, не испытывая неудобств, напротив — выказывая рвение. Не смысля ничего в межгосударственных мероприятиях, побывав детсадовским сиротой, я узнал, что и бабушка, и родители, один раз уже совершив такое, и в другой раз могут меня куда-нибудь подбросить и покинуть. И, может быть, больше уж не вернут назад. Скорее всего проглотив самую обидную обиду в мире — быть оставленным, я подсознательно стремился им понравиться, чтобы предотвратить такой ход событий. А быть может, в этом вранье был оттенок злорадной мести: вы вот как со мною, ну и пожалуйста, я и без вас отлично провел время...

Теперь они все и впрямь покинули меня. Я уже пережил это, смирился, как все мы покоряемся ходу событий. Но чем дольше я живу, тем меньше понимаю, отчего угадал Бог Бибигона упасть с Луны именно на эту, такую холодную и бесприютную, часть суши. Ведь в запасе в его время были еще пять шестых сухой поверхности земного шара. Это ж надо было так попасть. Уж лучше было бы ему упасть в мировой Океан. И захлебнуться соленой волной. Что ж, быть может, еще не поздно. Никогда не поздно.

Как произнести Л и Р

Говорили, позже она вышла замуж за профессора психиатрии. Причем не просто профессора, но — из института Сербского, что в среде порядочных людей считалось совершенно неприличным, столь одиозной была репутация этого заведения — флагмана, так сказать, карательной психиатрии. Но это все позже, много позже, а тогда, в мои самые ранние годы, это была красивая и разбитная бабенка с довольно смешным именем Наташка Толпыгина — одинокая, безмужняя и бездетная. Мне ее фамилия живо напоминала сказочного Топтыгина, тем более что я не мог тогда это слово правильно воспроизвести.

Толпыгина была коллегой матери по логопедической профессии, работала с ней на одной кафедре и числилась в близких, хоть и младших, подругах. Трудно теперь сказать, знала ли моя мать о ее прошлом. Быть может, Толпыгина скрывала свои бывшие печальные обстоятельства от сослуживцев и начальства, а именно то, что оттрубила не меньше шести лет в лагерях. У нас дома никогда об этом не говорили, но я недавно наткнулся на ее имя в одних лагерных мемуарах. Выходило, посадили ее году в сорок восьмом, забрав из десятого класса. Повод, как было у них принято, оказался курьезным. Она с матерью — отец погиб на фронте — жила на Арбате в отдельной квартире, что было само по себе редкостью. И именно потому, что квартира была отдельная, у нее собиралась школьная компания — точнее, юноши и девушки из двух соседних школ, ведь обучение тогда уже ввели раздельное: игра в карты на

поцелуи, танцы под граммофон. Из материалов дела можно было узнать, что и танцы, и поцелуи служили ширмой разветвленного заговора с целью убить отца народов, который ездил из Кремля на свою ближнюю дачу именно по Арбату, — убить, бросив бомбу из окна ему под колеса. Курьез заключался в том, что окна квартиры Толпыгиных выходили во двор. Кстати, схожим образом вошли в историю так называемые молодогвардейцы: русская полиция сфабриковала это дело в оккупированном Краснодаре, чтобы выслужиться перед немцами, присоединив к невинной поселковой компании школьников, мирно танцевавших себе на окраине под те же брызги шампанского, одного хулигана и одну проститутку — для убедительности, наверное. Это было тем более просто, что в полицаи с удовольствием шли во множестве бывшие советские милиционеры, и свой контингент они отлично знали. И получилось так, что немецкое дутое дело было подхвачено красной пропагандой, а позже из него были сделаны программный чудовищный соцреалистический роман и одноименный невероятно патетический фильм.

Здесь возникает еще один странный поворот. У отца был коллега-физик по фамилии Левитин. Этот самый Левитин был прекрасный и теплый человек и часто бывал у нас в доме. Так вот из тех же мемуаров выходило: он сидел по тому же делу о молодежном заговоре против Сталина, что и подруга матери. То есть в одно и то же время в одном и том же доме бывали бывшие подельники, но никогда у нас не встречались — мой отец не больно жаловал материнских подруг.

Впрочем, обо всем этом я не ведал в те блаженные годы, зато не выговаривал две буквы: л и р. То есть иногда у меня даже выдыхались эти звуки, но — путались: ворона оказывалась волоной, а волна, напротив, порывивала. Толпыгина же выходила натурально Торпыгиной. Мать-логопед, как ни билась, ничего с этим поделать не могла — я ее просто не слушался, точно так же потерпела фиаско и бабушка, вздумав на дому обучать меня немецкому языку... Так вот, с тем, чтобы расставить путающиеся у меня во рту л и р на сообразные места, Наташка Толпыгина как-то предложила моей матери: а что, Светка, пусть с недельку поживет у меня, я все ему выправлю... Наверное, матери очень даже пришлось это предложение — отдохнуть от любимого сыночка. А что до бабушки, то та помолчала, а потом произнесла: Наташа, только я прошу вас сладкого ему не давать. Я огорчился и состроил рожу.

— Ну что вы, — сказала Толпыгина, и, едва бабушка отвернулась, сунула мне конфетку. Я сообразил, что мне с ней будет хорошо и весело, потому что мы оба заговорщики. Или, если угодно, на пару подались в партизаны. Что ж, ей, должно быть, хотелось всласть поиграть в живую кудрявую куклу, какой я был в те годы, правда, непоседливую. А мне светило головокружительное приключение с почти чужой, но такой прекрасной тетей. И вот, после кратких сборов, на следующий день я был водворен на Арбат — квартира Толпыгиных дивным образом за ними осталась, хотя мать уже умерла, — кстати, ее отчего-то в свое время не тронули, хотя, следуя энкавэдистской логике, ее-то и нужно было назначить главным прикрытием, если не вдохновителем страшно-

го школьного заговора, чреватого государственным переворотом.

Надо сказать, что в родных стенах моя новая гувернантка, не знаю, как иначе назвать ее состояние, оказалась отнюдь не так легка и весела, какой бывала в гостях. Подчас она распускала волосы и надолго застывала перед зеркалом в состоянии созерцательности; или ложилась на кровать и смотрела в потолок; или разбирала старые фотографии, перекладывая их из кучки в кучку и разговаривая сама с собой, мол, а эту не взяли, дураки. Но никогда не молилась.

У нее было много привычек, мне непонятных. Все они были связаны с едой. Скажем, она не доеденный мною хлеб, куском которого я елозил по столу, забирала из моих пальцев и складывала в кулек. Птицам? — спрашивал я. Птицам, птицам, говорила она торопливо. Но однажды этот кулек попался мне на глаза на кухне, я заглянул, там собралось много обгрызанных корок, до птиц не дошедших и покрытых плесенью. Когда она готовила — на кухонном столе оставляла то кусочек моркови, то лепесток репчатого лука. Бабушка так никогда не делала. И мне нравилось за Толпыгиной все это подъедать. Однажды она застала меня за этой невинной кражей, притянула мою голову к себе, погладила по волосам и проговорила: ну хоть тебя, даст Бог, пронесет, мой мальчик.

Нужно бы попытаться сообразить, сколько ей было лет, — что-нибудь около тридцати. Волосы у нее и впрямь были хороши, даже мне это тогда было внятно: густые, рыжего отлива на просвет. И очень странные глаза: серые и очень чистые, будто промытые изнутри.

После раннего ужина — телевизор тогда уже изобрели, но простым гражданам не продавали, — она наряжалась в ситцевое платье в цветок, и мы отправлялись в кино. Может быть, было в ее репертуаре и что-то развлекательное, но мне врезались в память две суровые мелодрамы, причем обе на восточный мотив, — врезались потому, наверное, что мы их посмотрели по два раза.

Одна называлась, кажется, Фатима, другая — Мамлюк. И на ту, и на другую бдительные билетерши пытались меня не пустить, поскольку детям до шестнадцати, но Толпыгина объясняла, что оставить не с кем, а он все равно ничего по поймет... Я скромно опускал глаза, покорно строя дурачка, потому что помнил: мы с моей жоной в сговоре, ведь она-то, конечно, знает, что я все-все распрекрасно понимаю. Например, мне было очевидно, что когда героиня через полтора часа после того, как в зале потух свет, утопилась, то значит — фильм кончился, а бедная Фатима уже никогда больше не увидит ни своих прекрасных гор, ни вообще белого света. А с Мамлюком и вообще все обстояло ясно: там, значит, жили два друга, вроде нас с Витькой с первого этажа, но одного, значит, турки забрали к себе и сделали своим солдатом, а потом послали воевать, и он встретил товарища детства, но в другой, чем у него самого, форме. Ну и, конечно, они друг друга поубивали. С удивлением и даже испугом я замечал, что некоторые взрослые зрители обоего пола, когда гас экран и в зале зажигался свет, утирались платками, а то и вытирали кулаками глаза, как маленькие. Сопела даже Толпыгина во время сеанса, особенно когда речь шла о Фатиме. Я

пугался потому, что если взрослые плачут, то дело обстоит совсем плохо.

И сегодня меня волнует это воспоминание: отчего взрослую женщину, прошедшую допросы на Лубянке и лагеря, могли трогать эти душераздирающие дешевые мелодрамы, к тому же экзотического антуража? Впрочем, может быть, и сегодня матерые уголовники в лагерях рыдают, когда им показывают индийские фильмы. А чувствительность — обратная сторона жестокости. Ведь и Толпыгина на самом деле была весьма жестким человеком...

Занятия наши тем временем продвигались. Р-р-р, рычала на меня Толпыгина по утрам, показывая, куда при этом надо девать язык, я отвечал л-л-л. После серии этих неудачных попыток она бесцеремонно жестким пальцем засовывала мой язык внутрь моего рта и опять рычала. Р-р-р, говорила она, л-л-л, откликался я. Когда мы уставали, она усаживала меня рисовать, а сама ненадолго уходила из дому. Я рисовал — ее, мою наставницу, с оранжевыми волосами, с зелеными глазами, с ножками-палочками. Потом, рассматривая рисунки, она смеялась, спрашивала: себя я узнаю, а где же ты, мой кавалер? Мне и теперь непонятно, отчего она, такая яркая, тогда была одна. Ты же мой кавалер? — спрашивала она. Каварел, отвечал я, радостно кивая.

В один из дней она, вернувшись, сказала:

— Что ж, сладкого тебе нельзя, так что получай-ка орехи. — И насыпала в глубокую керамическую миску земляных орехов — с верхом.

Орехи мне очень понравились. В отличие от орехов надземных, эти были похожи на белых шершавых гусе-

ниц, смачно лопались, если сдавить их в пальцах. Кроме того, вместо одного ядрышка у них внутри было по два, а то и по три, и каждый орешек был укутан дивной красной шелухой, совсем невесомой, которую легко можно было просто сдунуть. Теперь у меня было занятие — не все же крутить глобус, который мне подсунула Толпыгина, полагая, очевидно, что, скажем, ее рассказы об Африке и в придачу чтение Айболита поможет мне сносно произнести фр вместо фл. Не все же — еще одно ухищрение хозяйки — листать громадный немецкий атлас мира, который я упорно называл атрас, ну, как матлас. Нет, орехи были много интереснее, с ними я, если уж взрослым так хочется, скажу как-нибудь р к месту, ведь внутри орех оно было.

В первый раз я умял всю миску и ужинать уже не мог. На следующий день моя воспитательница принесла следующую порцию, я съел и ее, и к ночи у меня подскочила температура, я облевал всю постель, впал в забытие и бредил. В бреду, мне потом сказали, я хорошо выговаривал Толпыгина, по-видимому, зовя свою кавалершу. Короче говоря, орехи отравили меня, потому что маленький человек не должен съесть земляных орехов в количестве, которое тянет на четверть его собственного веса.

Приходил доктор, мне ставили клизмы, я гадил на простыни, потому что от слабости не мог сползти на горшок, приехала мать, меня закутали, потому что озноб не проходил, вынесли на улицу, положили в такси и увезли в Химки. Меня встретил рыжий кот и бабушка, а из Москвы был вызвал отец. Он ничего не сказал по поводу моего пребывания у материнской подруги, и само

это молчание таило грозное осуждение. Он сел у моей кровати за ширмой на табурете и раскрыл том Жюль Верна.

— Не хочу больше ор-р-рехов, — отчетливо произнес я.

— Вот видишь, Юра! — воскликнула моя мать. — Толпыгина все-таки поставила ему р.

— Вижу, — сказал отец и стал мне читать про капитана Немо.

Матери уже нечего было добавить. И бабушка только покачала головой. А рыжий кот вспрыгнул на мою кровать и устроился в ногах.

— А почему у Толпыгиной мужа нет? — спросил я отца. Причем л вышло вполне натурально и вполне к месту.

Отец не ответил, а продолжал читать. Надеюсь, позже Толпыгина вышла замуж за своего психиатра по любви.

Как узнать, где раки зимуют

Иногда приходится чуть отступить назад, ближе к началу. Так вот, убежище бабушки в Химках не было, конечно, отдельной квартирой, полученной за работу переводчиком у пленных немецких спецов в институте Лесотехники, но — одной из двух комнат в благоустроенной коммуналке. Думается, это было нешуточным везением по тем послевоенным временам — после угловато в чужих деревенских избах, — пусть благоустройство и сводилось к самым неприятельным с нынешней точки зрения удобствам: сортир с канализацией и нали-

чие центрального отопления. То есть имелись батареи, но газа, конечно, не было, готовили на керосинках, стоявших на табуретах, накрытых обрезками клеенок. От этих бесхитростных приборов сдобно пахло теплым среди снега вокзалом, а в слюдяное окошечко можно было наблюдать, как дрожит кайма синего пламени на краешке фитиля и пускает вверх тонкую струйку копоти.

Только в сортире — неприятном уголке с наляпанной по стенам кое-как, неровно и комками, бурой масляной краской, — было холодно. Как утверждали соседи-старожилы, некогда батарея предусматривалась и здесь, однако ее не поставили: хотя все уж подготовили, сказали в последний момент, что будет излишек. Именно туда меня и запирали отец в случае моих провинностей. Ибо когда я надоедал ему со своими шалостями, отец, будучи человеком вспыльчивым, вскипал разом, без длительного подогрева, и свирепел. Но, не являясь отставным моряком, как папаша нижнего Витьки, не имел ремня с пряжкой, а с криком я тебе покажу, где раки зимуют волок меня в место скорбного для меня отдохновения, запирали извне на задвижку и выключали свет, ведь подходящего для воспитания детей чулана в квартире не было предусмотрено.

Зимой в этой импровизированной холодной тусклом свет доносился лишь из подпотолочного мутного окошка, на котором остался белый крап от некогда производившейся побелки. При наличии некоторого воображения, поскольку дело происходило, как правило, вечером, в черном квадратике неба можно было разглядеть и звезды, и луну. Самым страшным в этом наказании, однако, были не холод и даже не одиночное за-

точение, но то, что в тишине, которая уже стояла в квартире, мне чудилось, как шевелятся и скребутся эти самые неведомые раки, выбравшие себе для зимовки столь неуютное прибежище.

Когда глаза привыкали к темноте, можно было рассмотреть, что в стене рядом с умывальником есть несколько дырок, оставленных, наверное, от несостоявшегося устройства батареи, да так и не заделанных. Было очевидно, что это и есть норы раков и зимуют они именно в этих черных отверстиях: где же еще им было прятаться?

Надо сказать, что сами раки в те годы не были такими уж экзотическими животными, как нынче, и на химкинском рынке, наискосок от керосинной лавки, где продавали и всяческие скобяные изделия, серпы да лопаты, а также банки скипидара и масляной краски, висела кривая вывеска с кое-как выведенными буквами пиво и раки, а поскольку я уже умел читать по буквам, то мне оставалось лишь удивляться этой раковой вездесущности. То есть надо было понимать дело так, что раки не зимуют напропалую у нас в сортире, лишь приходят на ночлег, а утром направляются на рынок. Невесть как они туда попадали, ползком, наверное, таясь по дворам и сточным канавам, подернутым первым ноябрьским ледком.

Трудно сказать, отчего этими соображениями я не делился с бабушкой и матерью. Отчего я не говорил об этом с отцом, понятно: тот и сам прекрасно знал все о привычках раков и, пожалуй, посмеялся бы надо мной и дал бы, не соизмеряя своей нежной отцовской силы с деликатностью устройства детской шеи, чадолюбивый

шутливый подзатыльник, от которого ощутимо содрогалась моя маленькая голова. Отец вообще, будучи в хорошем расположении духа, любил тискать меня, как дети играют со щенками, и ударял поощрительно между лопаток, что мне вовсе не нравилось. Мать была поглощена другими делами, о раках скорее всего ничего не знала. Но вот отчего я не проговорился бабушке? Тем более что при первом же удобном случае она избавляла меня от соседства с раками в холодном сортире, ворча сам бы там посидел. Наверное, дело было в том, что я подсознательно не хотел обострять ситуацию, ведь получилось бы, что я как бы жалуясь на раков бабушке, что могло бы только осложнить мои с ними отношения. В конце концов вели они себя безобидно, лишь едва ворочались в своих дырках, шуршали, будто шептались, не принося мне вреда. Я очень приблизительно представлял себе, как раки выглядят, но все-таки видел их изображения на той же вывеске пивной. Там они в количестве двух штук бездвижно лежали рядом с кружкой пива, на которой была надета белая шапка пены, у них было много конечностей, как у тараканов, и были они ярко-красного цвета. То есть я знал о раках не так уж и мало: красные, днем они любили попить пивка, но своего дома не имели и зимовали где придется, потому что от хорошей жизни не станешь же сидеть в дырке в стене холодного сортира...

Мне очень помнятся наши с бабушкой прогулки по этому захолустному московскому предместью, с заходами на рынок, где я получал самые важные впечатления. При воротах бабы в телогрейках и валенках торговали из больших, толстых, рогожных подвернутых меш-

ков мелкими черными семечками, которых мне никогда не покупали и которых потому очень хотелось; там же, сидя на низкой тележке, хриплый безногий инвалид с отчаянием пел какие-то тоскливые песни, мне слышалось бродягу байкал переехал, ну как машина бродячую собаку, и бродягу было жаль; инвалид был сед, всегда зол, красен и простоволос, потому что его ободранная заячья шапка-ушанка лежала перед ним на промерзлой земле и наполнилась мятыми рублями, на которые можно было бы купить семечек очень много, несколько свернутых из обрывков газет кульков. Сразу направо шли барахольные ряды, там продавались, я знал, очень красивые кошки и свиньи-копилки, коврики с русалками — хвост изогнут, груди вперед, ротик бантиком, — а также фабричного изделия трофейные зеленоватые гобелены с заграничными охотниками, трубившими в рог, и с пятнистыми пугливыми оленями, прятавшимися в пестрых ветвях — точно такой висел тогда у моей кровати. Но бабушка чаще всего сворачивала налево, и, едва дойдя до всегда одной и той же задумчивой бабы в цветастом платке, телогрейка на которой была схвачена белым грязным фартуком, купив творога и пол-литровую банку сметаны, быстро уводила меня прочь от рыночной толкотни, будто боялась потерять. Иногда мы не сразу возвращались домой, а шли мимо Дворца культуры, торжественного здания с четырьмя белыми колоннами и гербом на фронтоне; по бокам от колонн всегда висели ярко размалеванные афиши, и позже я здесь смотрел кинофильм Чапаев — восемь раз. Если миновать школу, куда я позже пошел в первый класс, перейти железнодорожные пути, то окажешься в парке с каруселями, и у

парка было какое-то имя, не могу вспомнить, какое именно, на облетевших аллеях стояли покрытые ледком лужи, и карусели уже не работали, замерли слоны в пополах и облупленные понурые пони.

Прямо через дорогу, напротив наших убогих двухэтажных благоустроенных бараков, стояли два трехэтажных дома желтой штукатурки, построенные двумя буквами Г, таким образом, что между ними образовывался почти замкнутый “крепостной” двор. Здесь жила здешняя белая кость: работники райисполкома, инженеры авиационного завода, начальники из бабушкиного института, а партийные бонзы жили где-то отдельно, но об этом было не принято говорить. Позже выяснилось, что этот дом построили те же пленные немцы, но, быть может, не именно те, которым переводила бабушка; точно такие же добротные и теплые, с газовыми колонками и толстыми кирпичными стенами, немецкой постройки дома в Москве, в Перово, на Хорошевке, на Песчаных улицах, за Курчатовским, пережили советскую власть.

Ворота тогда были у всех дворов, но у нас были одни деревянные, на которых я имел обыкновение виснуть и качаться, едва бабушка зазевается, а здесь — двое ворот по обе стороны двора: железные и решетчатые. В нашем дворе росли тополя и был деревянный тротуар, проложенный через грязь к сараям, а здесь никакой грязи, никаких тополей и никаких сараев, а напротив, клумба посередине, а в центре клумбы — огромная облупленная гипсовая ваза с ручками, напоминавшая урну. Вокруг этой клумбы шла дорожка, огоро-

женная низким штакетником. На нашем с бабушкой языке этот номенклатурный двор именовался тот.

Иногда мне удавалось побывать в том дворе. Дело в том, что там обитал бабушкин начальник, и бабушка иногда выполняла для него частным образом переводы из немецких журналов, которые не положено было выносить за институтские стены, но начальник выносил, давал бабушке, чем вовлекал ее в свой должностной проступок. Короче говоря, бабушка была, отнюдь того не желая, вовлечена в сговор, но халтура есть халтура, как сказали бы нынче, а деньги были нужны. Отдать переводы и получить деньги из рук в руки бабушка ходила в тот двор и брала меня с собой. Тем более что в семье этого начальника помимо хлопотливой жены и тещи-еврейки был мальчик Миша двумя годами старше меня, а также большой и слюнявый рыжий с белым фартуком на груди боксер по имени, разумеется, Рекс.

По моему тогдашнему разумению, жило это начальственное семейство во дворце. Поскольку у них была, скажем, столовая, то есть место, где не спали, а только ели. Был сервант с саксонскими сервизами, тоже скорее всего трофейного происхождения, часы с боем, обитые полосатым шелком стулья с пружинами. Едва я попадал в это царство роскоши, как меня охватывало смутное чувство социальной неполноценности. Тем более удивляло, что бедно одетая, в затрапезе, моя бабушка не выказывала никаких признаков приниженности, а, напротив, уверенно что-то объясняла хозяину по поводу немецких составных существительных. Она хоть и была теперь нищей интеллигенткой, вдовой врага народа, но так и оставалась барыней.

Пока решались дела с главой семьи, его женщины уводили меня на кухню и угощали сладким чаем с сушками и конфетами му-му. Иногда в дни выплат, как я теперь понимаю, устраивалось и общее чаепитие в столовой, и хозяин рассказывал о своем военном прошлом, проведенном в тылу в инженерных войсках, но все больше о деревне, в которой он вырос. Если о чем-то из прошлого спрашивали бабушку, то она отвечала сдержанно и кратко, хотя я знал: ей было что рассказать, — подслушивал из-за ширмы их долгие вечерние разговоры с матерью. Иногда обращались и ко мне. И вот раз, когда барчук Мишка принес из своей комнаты деревянный ярко-красный игрушечный грузовик — хвастаться, я, уязвленный, сказал неожиданно для самого себя:

— А я знаю, где раки зимуют.

Все замолчали.

— Во, заливает, да что ты знаешь-то, — сказал Мишка презрительно, на правах старшего и богатого.

Хозяин посмотрел на меня строго и спросил:

— И где же?

— В туалете, — сказал я. Мишка картинно схватился за живот и захохотал, как смеются только очень избалованные дети, привыкшие быть в центре своей маленькой вселенной. И, поскольку тайна была выболтана, я добавил, ведь терять мне было уже нечего: — В дырках.

Мишка затих.

— То есть как это, Нина Александровна, понимать? — спросил хозяин бабушку, которая смотрела не меня очень внимательно.

— Он у нас фантазер, — сказала она, помолчав.

— Так вот, — сказал хозяин, — чтоб ты знал, раки зимуют в норах под берегом рек и прочих пресных проточных водоемов.

И я почел за лучшее не возражать.

Когда мы одевались в прихожей, теща хозяина, увидев мою цигейковую с пролысинами шубку, воскликнула:

— Какая прелесть! Нина Александровна, и где вы брали?

— На нашей барахолке, — ответила бабушка.

— Наверное, недорого?

— Недорого, — сказала бабушка, повязывая на мне кое-где побитый молью свой старый шерстяной шарф.

— Обожаю дешевые вещи! — воскликнула та, жеманясь и поджимая усатую верхнюю губу.

Бабушка посмотрела на нее с горечью и жалостью, а я возненавидел дуру, за нас с бабушкой обидевшись. Когда мы уже вышли на лестничную площадку, из квартиры с криком я вас провожу вырвался Мишка. Он волочил за собой санки, а следом радостно скакал Рекс.

Во дворе балованный Мишка с неожиданной для него покорностью спросил:

— Можно, бабушка, я вашего Колю прокатаю?

— Прокати, — сказала бабушка. — Но только один раз.

Я запомнил это катание. Умница Рекс позволил надеть себе под шею на белую грудь веревку от санок, мы с Мишкой уселись, и пес аккуратно повез нас по дорожке вокруг клумбы с гипсовой вазой посреди. Когда мы отъехали на другую сторону клумбы, Мишка спросил:

— Правда, что ль, в дырках?

— А вот и не скажу, — ответил я, не любя Мишку классовой нелюбовью.

— Ну и ладно тогда, — сказал он и вытолкнул меня с санок в сугроб...

С тех пор я долго мечтал о боксере. До того, пока не встретил собак еще умнее. Я воображал, как пес подходит и кладет морду мне на колени. Нет, я никогда не стал бы кричать, как теща хозяина, Геннадий, уберите же кто-нибудь эту гадость. И бабушка не стала бы. А что от его слюней оставались бы на штанах пятна — что с того. Мы с бабушкой купили бы другие штаны. На барахолке.

Куда девать старье

Все видения сюрреалистов преследовали их с детства, в чем они сами с подозрительным удовольствием признавались. Действительно: женщины с бородами, беременные мужчины, волосатые ладони или морские раковины, из которых торчат ноги в башмаках, — все эти образы могло породить только инфантильное сознание. Что понятно: мир детства по природе своей искажен и имеет мало общего с реальностью. Недаром дети так любят страшные сказки, рисуют причудливые фигуры и бормочут бессвязные стихи.

Этого недостаточно, разумеется, чтобы утверждать, будто все дети суть будущие сюрреалисты; справедливо лишь обратное. Но ребенок — хотя бы из-за малого роста — видит мир иным, чем взрослые, его горизонт восприятия расположен ниже и под другим углом. Скажем, взрослым почти недоступен мир зашкафный или

подкроватный, где таятся обок забытые вещи, никогда не встречавшиеся одна с другой в мире верхнем, упорядоченном: закатившийся мячик, дамский гребень, канцелярская скрепка или использованный некогда презерватив. Там — вечные сумерки и тайны, туда не достают ни веник, ни свет дня.

Когда дети подрастают, то, вылезая из-под кровати, прокладывают себе путь в подвал или на чердак. Там — то же соседство давно осиротевших вещей, брошенных как попало, вперемешку, составляющих ирреальные натюрморты, прелесть которых внятна только сознанию детскому да зрению художников не от мира сего: дырявые корыта и самовары, останки мебели, матрас с нахально выскочившими наружу ржавыми пружинами, абжур с горелой проплешиной, покоящийся в прохудившейся детской ванночке, гнутые ведра, кастрюли с потерянными крышками, рваные сапоги и отсыревший учебник ботаники для шестого класса сталинских лет. На такой, прекрасно захламленный чердак впервые меня заманил соседский лоб лет тринадцати по имени Санек, пообещав, что покажет, как на самом деле рождаются дети...

Бабушка, к счастью, скоро обнаружила мое исчезновение из ее поля зрения, по какому-то наитию поднялась на чердак, нашла меня и спасла от совращения. А соседу, фигурально говоря, надрала уши — во всяком случае, он на время исчез из моего пятилетнего мира. Однако я уяснил, что подобными соседскому, красными и большими, предметами, если их хорошенько подержать и потереть, делают детей. Я поделился этим новым знанием с бабушкой, но она упорно пыталась отвлечь

меня от истины, наивно заверяя, что детей приносят аисты и прячут их в капусте. В квашеной, поинтересовался я. Нет, в огороде на грядке, а мама с папой потом их там находят. Я не поверил, что был принесен аистом и спрятан в капусте. Дело в том, что аисты в Химках не гнездовались, как не было у нас в саду и капустных грядок, одни, как сказано, клумбы анютиных глазок. Но спорить не стал, чтобы бабушку не огорчать. В конце концов всегда лучше оставить близких людей в покое, наедине с их заблуждениями. И все же по ночам мне снилось, что на одном из тополей в нашем дворе стоит в большом гнезде аист на одной ноге — я видел в книжках такую картинку. Гнездо было похоже на теплую шапку-ушанку со свалевшимся мехом — такую круглый год, не снимая, носил тот самый сторож-татарин.

Помимо того что я открыл для себя мир чердачный, хоть и запретный, я пристально изучал сам наш двор, куда меня выпускали гулять на пару с моим рыжим котом, который, пока ему вдруг не приходило в голову сигануть на забор, шел за мной как собака. А также с моим дружкой Витькой — с первого этажа нашего двухэтажного дома. Витька был семилетним крепышом, сыном столяра, служившего в молодости моряком, а потому всегда ходившего в тельняшке. Своими огромными ручищами с синими якорями отец Витьки точил симпатичных качающихся на одной гнутой деревянной рельсе расписных коняг на местной фабрике игрушек и, выпивши, порол сына флотским ремнем с тяжелой блестящей пряжкой. Так что Витька был закаленным и пользовался у моей бабушки доверием.

Витькина же деревенская бабушка при молчаливом попустительстве отца-моряка, ее сына, и беззвучной, с мучного цвета лицом, матери заставляла Витьку ежедневно молиться. Но он не был хорошим православным и сомневался в существовании Бога, склоняясь скорее к стихийному атеизму. Это он первым, задолго до ставшей мне позже доступной антирелигиозной пропаганды, подбивал меня на рискованные эксперименты с целью выяснения божественного присутствия в мире. А именно, погожим летним днем надо было хорошенько зажмуриться и, преодолевая страх святотатства, крикнуть Бог дурак. То, что, вопреки предупреждениям Витькиной бабки, тебя тут же на месте не поразило громом, напротив, небо не омрачалось ни облачком, должно было служить верным признаком того, что бабка все врет.

Но, конечно, наше с Витькой существование на улице не ограничивалось духовными исканиями. Мир нашего двора, как и наш чердак, тоже был довольно странен и притягателен. Ведь здесь помещались две голубятни, а также взрослые парни и мужики здесь же играли в городки.

Если мне суждено будет дожить даже до сорока, я и тогда не забуду, что всякую партию следует начинать с того, чтобы распечатать конверт — выбить из квадрата из четырех чижиков пятый, стоящий в центре торчком, но не задеть при этом обрамление. Я также назову и спросонья названия фигур артиллерия из двух пушек и столбика часового между ними, паук, крепость, серп, колодец, башня, дедушка в окошке. Площадка была у сараев, тоже таивших внутри груды всякой восхититель-

ной всячины, и взрослые игроки днями здесь играли в эту восхитительно наивную народную игру, прообраз туповатого современного боулинга, со вкусом и всхлипом при броске швыряли биты, а нам с Витьком иногда доверяли выставлять фигуры, и это был большой приз и великая честь.

На этой площадке шла энергическая жизнь: здесь со стуком хлопались о землю тяжелые биты, здесь замечательно матерились, пили водку, устраивали мордобой и подчас пели под гармошку песни военных лет — скажем, про фарфоровый завод или бодрожалостливую а я мальчишка лет пятнадцать — двадцать — тридцать — сорок лежу с оторванной ногой.

Мы с Витькой тоже подпевали:

Ко мне подходит санитарка — звать Тамарка:

Давай, милоч, перевяжу,

И в санитарную машину студебеккер — двадцать — тридцать — сорок

С собою рядом положу...

Эта площадка для городков заменяла мужикам из предместья нынешние гаражи, но там, в отличие от более поздних времен, не только пили и колбасились, но занимались спортом и художественной самодеятельностью.

Совершенно другими, чем городошники, были голубятники — эти одинокие артисты держались особняком и жили жизнью, которую нам с земли было не понять. Они общались между собой почти исключительно посредством полетов своих птиц, и сюжетов воздушных драм, разыгрывавшихся чуть не ежедневно в небе над нашим двором, нам, профанам, было не разгадать.

Впрочем, о накале страстей можно было судить по жарким спорам между владельцами голубятен, вспыхивавшим подчас. Тогда спорящих обступали зеваки, а они кричали, мол, ты специально его увел... а ты теперь выкупи...

В городошный мужской клуб — не говоря о мире голубятен — женщины не допускались ни под каким видом. Но иногда проникали в него под предлогом того, будто им что-то понадобилось в сарае. Тогда разыгрывались забавные сценки, потому что муж, или брат, или сын тетки, позволившей себе вторгнуться в запретное пространство, подвергался насмешкам товарищей. Мужик, чтобы не потерять лицо, пытался гоношиться, а баба — от страха, наверное, что дома вечером ее будут крепко бить, — тоже вставала в позу, материлась, выставляла ряд претензий по поводу того, что она все одна, помощи не дождешься... Пока развивалась семейная сцена, сарай отпирался, и нам удавалось заглянуть внутрь. Почти в каждом там стоял велосипед со спущенной ржавой цепью, о каком мы могли только мечтать. Кое-где еще оставались дрова, вполне бесполезные, потому что уже настала эпоха парового отопления. Непременно было и корыто. Там же хранилось всяческое недоношенное тряпье, тоже весьма привлекательное...

Я вспоминаю этот мир посада, куда по прихоти истории и насмешке судьбы занесло мою бабушку и мою мать, со смешанным чувством нежности и жалости. Меня, Впрочем, скорее заставляет грустить о незавидной доле моего народа химкинское воспоминание о том, как во время первой бабушкиной серьезной болезни

мать, ездившая на службу в город, подыскала мне няньку. Это была замордованная тетка, жившая в рабочем бараке у станции. Вменялось ей со мной гулять, и та, конечно, знала это слово, но наверняка в другом значении. Гуляли мы с ней так: едва мать отворачивалась, а мы оказывались во дворе, моя нянька быстрым шагом вела меня в свой барак у станции, сажала на лавку и затевала стирку. Там, в клубах пара, в едком облаке испарений хозяйственного мыла, на единственной на весь длиннющий барак кухне и обнаружила меня, однажды спохватившаяся, моя наивная мамочка... Нет, меня не умиляют воспоминания о том, как ко мне иногда подходили незнакомые дядьки и просили мальчик, возьми у мамы стакан, и я, отзывчивый ребенок, тащил посуду из дому, бабушку не спросясь, — самое удивительное, что в те наивные времена стакан почти всегда возвращали. Меня как-то мало греют воспоминания о том, как старшие мальчики захватывали меня воровать яблоки в большом общественном саду, по старой памяти называвшемся совхозным, хотя никакого совхоза нигде вблизи не было, и ставили на атасе, чтобы крикнул, коли увижу приближающегося сторожа-татарина; или как я увязывался за этой же компанией на канал, но в воду, впрочем, не лез по неумению плавать. По сути, у меня нет умильно щемящих воспоминаний детства, хотя многое, очень многое я могу отчетливо вспомнить. Быть может, теперь я просто слишком далек от того бесхитростного поселкового быта, который дарил моей семье, право слово, мало радости. К тому же окружающее пространство было мне хоть и любопытно, но чуждо. Так или иначе я вспоминаю, поворачиваясь к детст-

ву, отчего-то не сцены, скажем, новогодней елки или катания на санках с горки ледяной, хотя были, конечно, и санки, и елки. Даже не сцену, которую любили вспоминать бабушка и мать, когда я увидел на улице женщину, несущую на руках младенца, завернутого точно в такое одеяло, в каком из роддома только что доставили мою новорожденную сестру, и в панике бросился домой, вопя Катьку украли. Память подсказывает отчего-то другие истории.

Наши дома стояли на улице Красноармейской, которая, начинаясь от железнодорожной станции, за который был парк с каруселями имени, я вспомнил, Маяковского, — не карусели так именовались, конечно, но сам парк, — упиралась в Ленинградское шоссе. По этой улице подчас с песнями и в ногу шел строем взвод потных солдат — в баню, а по обочинам бежали мальчишки и кричали дядя, дай звездочку. То же повторялось и на возвратном пути солдат, пахнувших теперь свежесмытыми сапогами. А в иной день шла похоронная процессия, тяжело бухал большой барабан, тоскливо звенели медные тарелки, хриплым басом рыдала туба, голосили женщины, иногда могло повезти взглянуть на покойника в обтянутом красной тряпкой гробу. Это всегда был один и тот же с восковым лицом дядька из тех, кто просил у меня стакан, он лежал молча и мертво, чутко глядя закрытыми глазами вверх, в небо, где не было никого, кроме ворон... Однажды, стоя в воротах нашего двора и глаза на пыльную, залитую полдненным зноем Красноармейскую, я услышал истошный женский вопль. Потом мимо меня, мелко рыся, пробежал растерзанный мужик с мученическим выражением

лица. За ним гналась тетка с растрепанными волосами в одной ночной рубашке и тапочках на босу ногу; она размахивала мокрой грязной скрученной тряпкой и вопила: я больная, а он, ирод, все деньги на лекарства пропил... Станным образом мне почудилось, что подобную сцену я позже прочту где-то. Или сам опишу.

Но все-таки есть одно воспоминание о моем детском химкинском дворе, которое заставляет меня улыбнуться. Это — тот самый старьевщик и его прекрасная лошадь-битюг.

Старьевщик объявлялся раз в две-три недели, иногда чаще. Он заезжал отчего-то не с улицы, а со стороны сараев — должно быть, ехал из соседнего двора. Его лошадка шла очень медленно, а он, сидя на телеге на куче тряпья, вопил во все горло свое старье берем. Все мальчишки знали, что с собой у него есть восхитительная кожаная торба, полная самой драгоценной дряни: уди-уди, ватными, обернутыми цветной глянцевой бумагой мячиками на резинке, леденцовыми петушками. Там же таился и главный приз — серебристого цвета пистолет-пугач, издававший звук взаправдашнего выстрела, когда тугой боек ударял по серенькой пробочке заряда. Все эти призы получал тот, кто сдаст старое тряпье, причем старьевщик, щурясь, взвешивал принесенное на руке и сам решал, какую дать цену. Торговаться было бессмысленно, да и тариф был внятен каждому мальчишке. Понятно, что за старую половую тряпку больше леденца не получишь, а вот мешок из рогожи мог потянуть и на уди-уди. Но страшно было даже подумать, сколько нужно добыть и нанести старья, чтобы заполнить вождеденный пугач.

И вот однажды, когда из-за сарая высунулась морда лошади и стал слышен скрип телеги, мы с Витькой стояли у нашего подъезда, обдумывая план добычи старых тряпок — хоть на леденец, который бы потом сосали по очереди. И тут откуда-то взялся перед нами Санек: что, пацаны, старье берем? Мы промолчали: мне так вообще было настроено запрещено с ним разговаривать, Витька же промолчал из осторожности — Санек был взрослым, хитрым и мог сильно сподличать. А пугач иметь западло, спросил Санек.

— Как это — западло? — переспросил Витька.

-- А так, — сказал Санек. — Старое пальто материно есть?

— Есть, — сказал Витька. — Пороть будут.

— Будут, — согласился совратитель. — Зато пугач.

Я представил себе, как буду держать в руках пугач. Я прицелюсь в Санька, нажму на курок, раздастся выстрел, и тот рухнет. Или напугается.

— У меня есть, — неожиданно для самого себя сказал я.

— Тащи, пока не поздно, — сказал Санек. — Не то уедет.

Телега тем временем стала перед сараями, и из двери одного из них мальчишка из соседского двора уже доставал грудку тряпья.

— Уйдет пугач, — сказал Санек и вздохнул. — Не достанется.

И я — решился. Я знал, где висит материнское пальто на ватине, которое она совсем не носила. То есть она сейчас его не носила, поскольку на улице стоял август. А про зиму я как-то не подумал. Я поднялся к нам

на второй этаж — бабушка была на кухне. Скоро обедать будем, сообщила она мне, помешивая в кастрюле.

— Угу, — отозвался я.

Пальто висело за дверью, закутанное в старую простыню. Когда я простыню развернул, запахло нафталином. На пальто был и воротничок с опушкой. Я не мог сам снять пальто с гвоздя и потянул вниз, повиснув на поле. Пальто какое-то время сопротивлялось, но потом соскочило с гвоздя и рухнуло вниз, накрыв меня с головой. Что там у тебя, поинтересовалась бабушка.

— Скоро обедать будем, — сказал я, выбираясь из-под пальто.

— Правильно, — сказала бабушка.

Нести пальто я не мог — такое оно было тяжелое. Мне пришлось его волочить. Я стащил его по ступенькам вниз, мои приятели ждали меня.

— Хорошее, — сказал Санек, легко перекинув материнское пальто через плечо. — На пугач тянет. И, может, еще по леденцу.

Старьевщик крикнул, когда Санек выложил пальто моей матери на телегу.

— Это откуда ж? Уворовали?

— Не, — сказал Санек, — здесь одна померла.

— Понятно, — сказал старьевщик, взвешивая пальто на руке. И полез в свою торбу. Это был честный человек, и скоро Санек держал в руке серебристый пугач. Старьевщик же достал отдельную коробочку и отсыпал с десяток зарядов. — Тронули, — сказал он своей лошади. И лошадка послушно пошла, чуть увязая копытами в мягкой траве, которой обросли за лето сараи.

Бабушка прибежала, как раз когда Санек дал мне стрельнуть, — пугач он, естественно, присвоил. Она кричала уехал, уехал, потому что старьевщика уже и след простыл, отвесила подзатыльник Саньку с пожеланием никогда ей на глаза не попадаться, выдернула пугач у меня из рук, выброси эту гадость, зашвырнула эту последнюю драгоценность в кусты и поволокла меня к дому, приговаривая Боже, что я Светочке скажу...

Впрочем, вечером говорила как раз Светочка. Говорила ведь под твоим носом... под самым носом... как ты могла не слышать с кухни-то...

— Другое сошьем, — говорила бабушка подавленно.

— На что, на что... ведь только прошлым летом Юрочка мне купил, что ему-то скажем... мне и так ходить не в чем...

И она бурно заплакала. Я сидел на кровати за ширмой. Нет, меня не выпороли, хотя надо было бы: меня никогда не били, только увещевали. Но я тоже шмыгал носом и давился слезами. Наверное, я больше никогда так сильно не любил свою мать, как в тот раз.

Как дать петуха

Любовь бабушки к кошкам стала причиной того, что у меня на всю жизнь сложился скверный почерк: я опоздал в первый класс и пропустил начальные уроки чистописания. Дело вот в чем: татарин, стороживший химкинский совхозный сад, поздним летом застрелил из своей берданки нашего рыжего кота. Ответа на вопрос, зачем он это сделал, не было и нет. Ни в каких

враждебных отношениях с бабушкой татарин не состоял, кот же никак не мог угрожать урожаю яблок, поскольку не ел даже мышей, а питался филе трески. Татары же в мое время, в свою очередь, не ели котов. Быть может, совхозный сторож, охраняя мир ботаники, пребывал во вражде не с нами именно, даже не конкретно с треской и котами, но со всем животным миром, включая кошачий.

Потерю друга от меня долго скрывали, но я вскоре и сам понял, что Рыжий отправился в какое-то чудное дальнейшее путешествие в духе Жюль Верна и по примеру капитана Немо. Я скучал, справлялся, нет ли от кота вестей, бабушка меня жалела, тоже печалилась. Иногда по вечерам я слышал из-за своей ширмы, как она говорила матери, что был, мол, совсем как собака, такой умный. Я не мог понять, при чем тут собака, Рыжий сам по себе был замечательный и спал у меня в ногах. Так или иначе, избывая горечь семейной утраты, бабушка в августе подобрала на улице двух кошек. В нашей комнате устоялся кошачий дух, на кухне из-под рук бабушки стали исчезать редкие в те годы рыбные и мясные продукты, а у меня на голове обнаружился стригущий лишай.

Дело с этим тогда обстояло сурово и строго: если амбулаторное лечение не давало скорых результатов, паршивца отправляли в специализированную больницу. Меня забрали в Сокольники накануне торжественного дня, когда я должен был впервые отправляться в школу. В казенном доме всё домашнее с меня сняли, облачили в байковую форменную одежду, побрили наголо, завернули голову воняющей йодом парафиновой бумагой и надели больничный колпак.

В палате было человек пятнадцать-двадцать таких же, как я, бедолаг в парше. Некоторых, впрочем, лечили от вшей. Я оказался едва ли не самым младшим, семи лет от роду, все остальные были уже школьниками и очень радовались нежданному продлению каникул. Всё это были мальчики дворовые, из рабоче-крестьянских семей, драчливые, и в палате царили совершенно тюремные порядки, но меня за малостью никто не трогал, они разбирались сами с собой: устраивали темную тем, кто воровал из тумбочек, отстаивали лидерство. Удивительным образом у нас в России сам собой воспроизводится дух тюрьмы, едва для этого есть хоть малейшая возможность. В закрытых пансионатах и интернатах, в детдомах, в казармах, даже в больничных палатах. Видимо, такое мироустройство, сказал бы человек начитанный, имманентно нашему национальному характеру. К тому ж отвечает и самому строю повседневной жизни, в котором так перемешаны принуждение, стукачество, скудость и тоска.

Социология нашей палаты была такова. Верховодил Вшивый Летуч, то есть здоровый малый-переросток по фамилии Летучев, довольно свирепый и не пребывавший временно в колонии лишь по недоразумению или малолетству, — старшие его братья, как он рассказывал с гордостью, все давно сидели. У него был подручный, очень маленький, меньше даже меня, но очень крепкий четырехклассник Вован, и всю грязную работу за вожака исполнял он: сортировал передачи, бил неудобных, держал масть. Остальные малолетние больные представляли собой шоблу безгласных и бесправных рядовых, и происходи дело не в стенах лечебного

заведения, а на улице, то была бы это крепко сколоченная банда юной опасной шпаны. Вне организации оказались, как сказано, только я и второклассник Мишка-Еврей, как его здесь называли. Он и вправду был тихим еврейским мальчиком из бедной семьи — и, как я, домашний. Конечно, наше положение чужаков не могло нас не сблизить.

Развлечений было мало: так, байки перед сном. Ни о каком телевизоре, скажем, тогда речи не было. Книжек здесь никто не читал. Событиями становились: утренний осмотр, процедуры, еда четыре раза в день, оправка в общей уборной — по ночам полагались подкроватные горшки — и прогулки, конечно. Забавно, что горшки выносили нянечки, но Летуч и Вован всегда вызывались им помогать. То есть носил дерьмо, конечно, Вован, а Летуч был как бы бригадиром. И вся плата знала, в чем здесь дело, — в сортире они курили. А в палате в это время клубились восхищенные шепотки: папиросы дымят...

Больничный двор, куда нас выводили гулять, был обнесен высокой кирпичной стеной, совсем тюремной, разве что без колючки поверху. Стена была необходима, поскольку больница эта была посвящена излечению кожных заболеваний. И совершенно логично, что стеной она была обнесена для отгораживания от внешнего, здорового, мира.

Но не только этой цели служила стена. Дело в том, что за оградой нашего учреждения помещалось другое, смежного профиля, а именно — женская венерологическая лечебница. Так что стена у нас и у сифилитичек была одна, что некогда позволило устроителям этого оа-

зиса народного здравоохранения чуть сэкономить на стройматериалах и землеотводе.

Если наш двор был гол, только чахлые кустики и редкая трава, то у сифилитичек во дворе росли два замечательных тополя с обрубленными ветвями. Это был факт, значение которого выходило за рамки чисто ландшафтные. Дело в том, что после отбоя, когда врачи покидали стены учреждения, а нянечка запирала нашу палату на ключ, все наше население бросалось к окнам, стремясь занять место на подоконнике и поудобней устроиться на животе — по понятной предусмотрительности начальства окна именно детского отделения смотрели на смежное учреждение.

Темнело поздно, и все было отлично видно. Именно в это предвечернее время на тополях появлялись гроздьи онанистов. А сифилитички устраивали для них стриптиз. Наверное, сифилитички видели и нашу детвору, но главными зрителями для них, конечно, были гнездовавшие на тополях, среди которых преобладали взрослые мужики. Нам с Мишкой тоже хотелось бы взглянуть, хотя суть дела для нас оставалась смутна. Но нас, конечно, к окнам не подпускали.

У всякого представления бывает финал, хотя бы потому, что августовское небо, наконец, наливалось темнотой, и проступали звезды. Летуч заваливался на койку — он занимал, разумеется, самое почетное место, у окна, и начинал петь. Репертуар у него был небогат, и кое-что из него я до сих пор помню, благо позже эти жестокие романсы стали классикой. Это были, разумеется, Из-за пары распущенных кос, Девушка из Нагасаки, В нашу гавань заходили корабли, но самая ударная была

ухарская плясовая У них походочка, что в море лодочка...

Летуч требовал, чтобы все без исключения подпевали. Даже Мишка, даже я. Через неделю лечения я знал этот репертуар наизусть и подпевал, стараясь. Странное дело, но я ощущал гордость за то, что посредством хорового пения оказывался принят в компанию этих храбрых больших ребят, которые в предночный час казались мне теми самыми моряками, которые из-за пары распущенных кос: так лихи они были, так красивы в своей нахальной и наивной грубости.

И вот в один из этих прекрасных августовских вечеров, когда окна были открыты настежь, когда сифилитички напротив, угомонившись, тоже пели что-то жалостливое, тюремное, когда и наша палата дружно горланила что есть мочи, дверь распахнулась. Все мигом затихли, но я от старательности еще продолжал фистулить.

Это был ночной обход. Такие совершались не чаще раза в месяц. Вошел главный врач в халате, с ним пара молодых врачей и какой-то дядька, у которого халат был лишь наброшен на плечи. И поскольку моя кровать была ближе других к двери, то вся компания остановилась надо мной. Я пел:

А потом мне она изменила
И куда-то умчалась с другим.
Что поделаешь, милая мама,
Коль сын твой остался один!

Конечно, когда я обнаружил высоких слушателей, то затих, но тот, в наброшенном халате, сказал с улыбкой: ты пой, пой, хоть и даешь ты петуха... И вся палата

весело заржала. Я же испуганно и послушно запел
опять:

Часто ее образ вспоминается,
Вижу ее карие глаза,
Вижу я ее, с другим она шатается,
Бросила, покинула меня.

Комиссия реагировала живо — сначала пофырки-
вал лишь тот, в накинутом халате, за ним остальные. Я
продолжал, будто замороженный:

Помню ночку темную осеннюю,
С неба мелко дождик моросил,
Шел с тобой я пьяный, похудевший,
Тихо пел и все о ней грустил.
И с нарастающим от страха энтузиазмом:
В переулке пара повстречалась,
Не поверю я своим глазам,
Шла она, к другому прижималась,
И уста скользили по устам...

Тут врачи уже покатывались с хохоту, толкая друг
друга локтями. Я, польщенный успехом, продолжал с
некоторым неистовством победителя:

Из кармана вынул я наган,
И ударил я свою зазнобушку,
И потом не помнил, как бежал.

Когда я дошел до труп ее упал к моим ногам, тот, в
наброшенном халате, уже рыдал, держась за сотрясав-
шуюся грудь. Веселились, разумеется, и мои сокамер-
ники. Наконец, главный из комиссии, утирая слезы,
рявкнул: молчать! Палата мигом затихла.

— А ты, Робертино Лоретти, тоже молчи,— сказал
мне доктор и погладил по парафиновой голове. Я не

знал, кто такой этот самый Робертино, но чувствовал себя гордо и обласканно...

На другой день били Мишку.

С утра к Летучеву пришел посетитель. Это был его старший брат, вышедший из тюрьмы по амнистии. Он принес передачу — вареную колбасу Любительскую и бутылку портвейна. Вечером Вшивый Летуч и Вован выпили вино, ошалели и взъярились. Надо было кого-то бить. Мишка-еврей был самой подходящей кандидатурой. Он, будто почувствовав угрозу, зарылся под одеяло с головой, но Вован, едва нянечкин ключ повернулся в двери, легко сдернул Мишкину хрупкую защиту. Пока его били, тот вздыхал по-старушечьи. Он молча лежал на спине, поскольку Вован держал его за плечи, слезы стояли в глазах, но не текли. Заплакал он позже, когда Летуч притомился от работы и безгласности жертвы. Тогда Мишка укрылся одеялом и заплакал тихо и бездвижно, и от этой его тихой обреченности мне было особенно не по себе — лучше б он рыдал, кричал и бился. Я не мог ему ничем помочь и страдал от этого. Мне было до того жаль Мишку-еврея, что я тоже зарылся в одеяло и тоже заплакал...

Между тем лишай сошел с моей головы, меня выписали, и я пришел в первый класс с опозданием на месяц. Все уже умели окунать острое перо с дырочкой посредине в чернильницы, а я не умел. Писать-то меня в доме давно научили, но карандашом. И при этом я опоздал научиться выводить красивые вензеля вместо заглавных букв, а мои одноклассники это уже прошли. Я попал в двоечники. В этом была своя выгода, ведь я мог сидеть на задней парте и считаться хулиганом, тем бо-

лее что никто из моих товарищей по начальному обучению не знал тех песен, что на перемене пел я. Я оказался Робертино в масштабе первой смены первого класса, своего рода достопримечательностью. А поскольку другие здесь не знали таких замечательных слов, то я не стесняясь давал петуха, и никто из однокашников не посмел бы указать мне на мою тугоухость.

Стояло начало теплого октября, на перемены нас выпускали на школьную спортивную площадку, где стояли два столба для несуществующей волейбольной сетки. Сюда же вываливались ватагой и ученики старших классов — со второго по четвертый. И вот солнечным осенним деньком я, окруженный толпой поклонников, пел. Когда я дошел до коронной строки, раздался голос: эй, ты чего воешь-то. Голос принадлежал четырехкласснику, выше меня на голову, здоровому и с внешностью Летуча. А рядом с ним стояла парочка вонанов.

— Я не вою, — смело ответил я.

— Нет, воешь, — сказал он и пошел на меня.

Не знаю, что со мной случилось. Но я вдруг увидел картину избиения безгласного Мишки — как на экране. И, как он плакал под одеялом, вспомнилось мне так отчетливо, что и сейчас впору было заплакать. Я нагнулся, выставил вперед голову и побежал что есть мочи вперед. Я ударился уже обросшей короткой шерстью головой в живот обидчика, и тот скорее от неожиданности, чем сознательно сильно пнул меня в грудь. Я упал на грудь щебня носом, и потекла кровь.

— Пойдем, он дефектный, — сказал четырехклассник своей свите, имея в виду, что я дефективный, и они

стали удаляться, временами с опаской оглядываясь на меня. Я лежал на куче щебня и был счастлив. Я даже допел себе под кровавый нос, который зажимал рукой, свою гундосую песню: труп ее упал к моим ногам. Я ведь был мал тогда, я еще не знал, что впереди меня ждет жизнь.

Как удержаться в седле

Мой первый двухколесный велосипед мне подарили по благополучном окончании первого класса, перед самыми каникулами. Лето мы проводили в деревне. В те годы для городских семей среднего интеллигентского достатка было обычным делом снимать под дачу деревенские избы. Мы нанимали одну большую чистую комнату с крашеным малиновой краской полом, на котором лежали плетенные из разноцветных тряпок дорожки, с двумя белеными печками, русской и голландкой, последняя комнату и разгораживала, с самодельной деревенской крепкой и удобной мебелью, с коллажем из праздничных цветных открыток и черно-белых фотографий родни хозяев и их самих в молодости в большой раме на стене, подвязанной, как икона, белым рушником с красными петухами, — рама, наверное, осталась от разбившегося некогда на счастье широкого зеркала. Для окончательного уюта был тюль на двух маленьких окошках, глядевших в палисад с подсолнухами. Еще мы отхватили сени с рукомойником и щелястое крыльцо с ходившими сырыми досками. Хозяева на время нашего поста перебрались в только что оштукатуренную летнюю кухню, занавешенную от мух

многослойно марлей, и весь наш срок вели себя так, будто их на свете никогда не было вовсе. Разве что под вечер, в пыльных красноватых сумерках, когда возвращалось с выгона деревенское стадо, слышно было, как хозяйка звала свою корову, и вскоре на нашем столе появлялась трехлитровая банка еще пенного парного молока.

Велосипед звался Орленок, машина для подростков, но довольно прочная. Судите сами: когда ранним летом, за ночь, под ближним косогором, с которого я ежедневно лихо скатывал с тем, чтобы гнать потом по еще щетинистым полям на старицу, в которой плавали цветущие кувшинки, солдаты в порядке военных учений выкопали окоп, мой велосипед, скакнув в эту свежерытую канаву и скинув меня вверх тормашками, не развалился, только переднее колесо, как тогда говорили, сделалось восьмеркой да откатился насос. Цел остался даже звонок, как, впрочем, и я сам.

Это было мое первое вольное лето, потому что бабушка занималась годовалой сестрой, а мать была отвлечена от моего воспитания романом отца с его собственной аспиранткой второго года, которая имела дачу неподалеку, — полагаю, деревушка под Истрой и была выбрана папой из соображений этой близости. Как все мужья, после рождения второго ребенка влюбленные на стороне, отец делал неверные виражи и врал через пень колоду. Чуть не всякий день после обеда по своей охоте он брал меня на прогулку, чего прежде его теще приходилось добиваться со скандалом, — впрочем, тогда я уж предпочел бы прогуливаться самостоятельно. Мы направлялись к дачам, как называли пейзаже ближ-

ний дачный поселок, обнесенный плотным зеленым забором. Нас принимали на веранде чаем с ванильными сухарями, а в хорошую погоду совершался променад по окрестным лугам, желтым от люцерны, и ржаным полям — с собиранием васильков и плетением венков. Отсюда мне кажется, что вся эта ботаническая платоника была не внешней, но соответствовала сути дела: эротически взволнованные руководители зачастую бывают вблизи своего предмета застенчивы. Звали отцовскую пассию, кажется, Лиля, и была это малоприятная особа: носатая, конопатая, с той осанкой, что присуща рыжим женщинам-естествоиспытателям и заядлым туристкам, которые на свежем воздухе обвязывают загорелые головы белой косынкой по лоб, схваченной узлом на затылке. Была она молода, моложе отца лет на тринадцать, но некрасива, с выдвинутыми вперед, как у белки, верхними зубами, и ко мне относилась с фальшивой показной лаской. К тому же на ней всегда были подвернутые до колен шаровары и какие-то девчоночьи сандалики, надетые на темные по мыску выпяченных пальцев белые носки... Но вернемся к верховой теме.

Я и потом часто падал с седла. Иногда по собственной лихости, а подчас седло оказывалось неудобным. Скажем, следующим летом на этом самом велосипеде я навернулся с высоченного автомобильного моста через речку Сходню. Дело было так: в этом месте дорога резко ныряла, и крутой спуск кружил мне голову. Я бешено скатывался вниз, резво крутя педали, что было излишне, и однажды во время исполнения этого трюка подшипники посыпались во все стороны, скача по асфальту, с шестерней соскочила цепь, и, поскольку скорость бы-

ла высока, а меня несло на переднюю стойку моста, я резко дал влево и после дивного полета упорхнул в нашу мелководную речку. Я и тогда остался цел, но без своего коня: велосипед превратился в железный винегрет...

А в то первое мое велосипедное лето, как сказано, до меня никому не было дела. Как он не понимает, говорила мать бабушке, что эта стерва хочет его окрутить. Я подслушивал и подглядывал эту сцену сквозь трепещущий тюль, стоя под открытым окошком. Подслушивал не нарочно, я случайно оказался там, намереваясь попросить у бабушки баранку с маком и бежать дальше по своим восьмилетним делам. Что меня поразило, так это то, что мать стояла в солнечном луче, падавшем из окна, совершенно голая.

— Ну и бог с ним, Светочка, — отвечала бабушка. — У тебя отличная фигура, живот уже совсем подтянулся. И ноги...

— Правда ведь, — сказала мать, глядя на себя в мутное зеркало на дверце платяного шкафа и не слушая.

Я был согласен с бабушкой: некрасивая тетя Лиля не шла ни в какое сравнение с моей матерью — та была суха и плоска, а у моей матушки была пышная, еще полная молока грудь.

— Мы проживем, — говорила бабушка уже сама себе. — Конечно, двое детей, но ведь и я одна тебя вырастила.

— Ах, мама, — вдруг воскликнула мать и заплакала, — как ты не понимаешь, тогда было совсем другое время... — И продолжила: — Он уверяет, будто она

только аспирантка, и у них ничего нет, а я просто ревнивая дура...

К слову, моя мать-умница ревнивицей, действительно, была основательной. И в своих порывах подчас бывала неумна.

— ...Ох, так просто, я чувствую, одной кандидатской дело не обойдется.

— Что ж, я всегда говорила, что Юра большой эгоист, — вставила бабушка рассудительно.

— Дождь собирается, — сказала мать, всхлипывая и направляясь к окну. И неожиданно: — Как ты не понимаешь, мама, мне его жалко, он совсем не чувствует...

Я едва успел нырнуть вниз, как створки окна с шумом затворились над моей головой. Думаю, мать тогда была права. Кандидатской диссертацией, которую отец написал за эту самую Лилю, действительно оказавшуюся дрянью, история бы не ограничилась. Позже это и вовсе стало ясно. То есть стало ясно именно в то второе велосипедное лето, когда я на своем Орленке полетел с моста в реку: едва защитившись, Лиля написала на моего отца донос в профком, именно в профком, потому что в партии, на его счастье, отец не состоял, — как раз тогда я нашел замену своему железному пони. Донос, по-видимому, сводился к тому, что отец воспользовался служебным положением и состоянием подчиненности бедной девушки и теперь должен на этой самой Лиле жениться... Но здесь придется чуть подробнее рассказать о нашей сходненской даче.

Сохранилась блеклая любительская фотография бабушки, сидящей на низкой скамеечке на огромной

открытой веранде этого дачного дома. Бабушка сидит в проеме, между двумя большими растрескавшимися блядинами, а по бокам вьется дикий виноград. Это была очень подмосковная и очень ветхая дача, потому что владела ею одинокая пожилая вдова. Мне этот трехэтажный, если считать маленький мезонин, дом, скрипящий и разохшийся сверху, а снизу гниющий, казался громадным и мрачным. Мы занимали одну половину первого этажа: эту самую просторную открытую веранду, на которой сидит на старом снимке бабушка, а по бокам еще две очень большие комнаты: так, с размахом, строили до революции помещанские дачи — в подражание уже тогда канувшим в Лету барским усадьбам. Позже, в нищие советские времена, когда даже утлая железная бочка с самоварной трубой гордо называлась буржуйкой, никому бы не пришло в голову разнести комнаты таким образом, что каждая обогревалась собственной печью, и сообщались эти печки лишь на уровне дымоходов. Да и густой дикий виноград говорил о совсем не аскетических, не большевистских пристрастиях обитателей.

Покойный хозяин дачи был инженером по электричеству и много старше жены, он умер во время войны. Больше ничего о хозяйке известно не было, потому что это была молчаливая и угрюмая дореволюционного происхождения бабка лет пятидесяти пяти, даже в жаркие дни кутавшаяся в пальто, низко повязывавшаяся темным платком, поверх надевавшая салоп, и у нее в сырой, всегда затемненной комнате, я как-то подглядел, в углу висела икона, под которой мерцала лампада. Я рассказал об этом бабушке. Что ж, сказала бабуш-

ка, выразительно на меня посмотрев, Вера Александровна верующий человек, и я хорошо понял ее взгляд не надо больше об этом говорить.

Нужно вспомнить и густой заброшенный сад — участок был велик. Все здесь поросло бузиной, рябиной, молодыми кленами, непролазной черной смородиной, а над самой нашей верандой нависал большой конский каштан с зелеными твердыми плодами, и на каждой его веточке умещался пучок из семи овальных темно-зеленых жестких листьев. На этой даче мы задержались надолго, мерзли до позднего октября, потому что отец ждал со дня на день ордер на новую квартиру от университета, а в Химках все хозяйство еще весной было свернуто. В сентябре в зарослях у старого, сырого, прохудившегося забора я обнаружил колонии лопухастых пахучих опят и таскал их бабушке корзинами. На сковородке они, урча в сметане, источали сладкий запах лесной прели. И еще один свой подвиг я вспоминаю: никому не подражая и ни у кого не учась, я самостоятельно сварил на электроплитке в кастрюле к изумлению женщин варенье из кислых яблок от выродившихся яблонь и горькой — к морозам — рябины. Но о том, как варить такое варенье, я когда-нибудь дам отдельное назидание...

Про погибший велосипед я уже рассказал, а вот про своего безымянного за давностью и летней случайностью нашей с ним дружбы сходненского товарища-однолетка еще нет. Помню только, что у него было два старших брата, все время строивших в конце их участка из бруса и пахнувших свежим деревом досок новый дом, и была моложавая мать, покушавшаяся говорить

со своими сыновьями по-английски. Впрочем, мне запомнилось, дальше хау ду ю ду дело у них не шло. Еще я запомнил один стишок, который жил-поживал в этой семье на правах домашней присказки:

Никакого нет резона

На дому держать бизона, —

запомнил, наверное, из того, что содержалась в этих словах сладкая и веселая чушь. Этот мой случайный дружок важен здесь лишь потому, что именно он, как старожил, рассказал мне, что на другом берегу речки находится летняя спортивная школа верховой езды общества Урожай.

Я зачастил за речку. Там в длинной темной конюшне, пахнувшей свежим навозом, полной живого дыхания, всхрапов, тихого перетоптывания многих пар копыт, действительно содержались коняги самых разных мастей, каурые и рыжие, вороные и белые, и сторож-конюх скоро смирился с тем, что я вечно кручусь под ногами. Уже через несколько дней мне было позволено угощать лошадей солью, которую надо было брать в большой бочке, стоявшей возле поилки. Живые кони слизывали соль с моей ладони шершавыми языками или осторожно брали черными замшевыми губами.

Когда конюх и кони совсем привыкли ко мне, то первый сажал меня верхом, коли выводил кого-то из них размяться на манеж на конкуре. Конечно, это было строго запрещено: во-первых, я мог свалиться с такой-то по моим тогдашним размерам верхотуры, а во-вторых, сажал меня конюх на спину лошадей, конечно же, без седла, и я мог невзначай лошадь поранить. Иногда появлялся на базе и кто-нибудь из наездников, но пооди-

ночке они никогда не тренировались, и всадник приезжал лишь справиться о здоровье и настроении своего товарища.

Особенно я сдружился с конем по замечательной кличке Лимонад. Это был необычный конь. Он был совершенно бел, у него были зеленые глаза и губы не черные, а цвета переспелой малины, и дивный нос из темно-бордового дерматина. Я тайком совал своему любимцу куски сахара, что делать запрещалось, и скоро конь встречал меня, едва завидев в светлом проеме ворот, ласковым ржаньем. Хозяин его был мой тезка, то есть звался Николаем. Это был франтоватый молодой мужчина, всегда приезжавший на базу на собственной Победе. Он был чемпион Союза, и это было заметно и по его ухваткам, и по тому, как лихо были заправлены в сапоги желтой кожи его спортивные брюки, и по щегольской его клетчатой ковбойке, и даже по тому, как он носил жокейскую шапочку — козырьком назад. Он подходил к Лимонаду, а тот, завидев его, раз за разом опускал голову, словно кланялся, косил жарким зеленым глазом и нетерпеливо перебирал копытами, будто спрашивал, долго ли ему еще стоять в стойле без дела. Николай ласкал и целовал коня в морду, меня не замечая, поскольку я скромно стоял у входа, а конюху, который был старше его в два раза, не забывал напомнить: мол, ты у меня смотри, Михалыч. Михалыч, если уже чуток принял с утра, воротил лицо, бормоча не дай Бог, — он любил пропустить стаканчик, но кони не разделяли его пристрастия и запах алкоголя очень не любили... Забегая вперед скажу, что именно Николай на Лимонаде выиграл тем летом скачки с препятствиями на рим-

ской Олимпиаде, и я восторженно гордился своим любимцем, в глубине души разделяя его победу.

Тем временем дела у папы складывались совсем неважно. Лилин донос в профком, сам по себе вздорный, никого особенно не заинтересовал бы, когда б не одно обстоятельство: нашлись охотники использовать этот скандал для того, чтобы отодвинуть отца в очереди на жилье. Ситуация, вы понимаете, оказывалась критической — семье грозило не то чтобы остаться на улице, но разъединение вместо чаемого воссоединения. Так и вышло: бабушка с сестрицей оказались в тесной коммунальной комнате отцовской тетки бабы Кати на улице Герцена, чуть наискосок от Петра Ильича Чайковского, ласково протягивавшего в пустоту руку; а я с родителями — на Грицевец в проходной комнате. И во второй класс, опять же с опозданием, я отправился в школу имени Фрунзе, потом переданную Гнесинскому училищу. А в дом от университета мы попали наконец лишь в конце марта...

Когда Лимонада увезли в Италию, я приходил в конюшню, как и прежде, всякий божий день и стоял потерянно у опустевшего стойла. Даже пожилой конюх жалел меня, и однажды сунул конфетку, наверняка приготовленную на закуску. Но в один из поздних августовских дней конюшня ожила, понаехали наездники, тренеры, какое-то начальство на Волге с оленем на капоте и просто болельщики: было назначено соревнование. Весь лесок разметили флажками, накопили канав, замаскированных еловыми ветвями, понаставили барьеров из горизонтальных крашенных брусков, которые кони потом со смачным стуком сшибали копытами, но самым ко-

варным участком дистанции был резкий песчаный откос, спускавшийся к реке, а на другом берегу флажки шли дугой, опять приводили к речке, а там уж лежал прямой путь к финишу. Оказалось, такими соревнованиями всегда отмечается день общества, и для Урожайных бонз был поставлен стол рядом с судейским, у самого манежа, и были выставлены бутылки именно что лимонада.

Я занял позицию у речки. И не зря. Я стал свидетелем сцены, которая меня поразила. Кони один за другим съезжали по отлогому песку, приседая и пятясь, наездники с натужными красными лицами орудовали стеками и натягивали удила, били их в бока пятками, у лошадей из горячих пастей валила пена, но потом они, почувствовав твердое каменистое дно, рывком выносились на другой берег и уже уверенно скакали по дуге, по заливному лугу, пока не скрывались за густыми кустами ив. Но вот одна из лошадей оступилась на краю обрыва, развернулась боком и, дергая вразброс ногами в воздухе, увлекая за собой кучу песка, покатила вниз, сбросив седока. Наездник, с ног до головы промокший, вскочил на ноги, на лице у него было выражение одновременно жалости к себе и того испуга, который проступает при нежданном несчастье, потом оно сменилось гневом, и он стал бить стеком по сырой темной морде тоже промокшую лошадь, уже стоявшую на коленях на дне речки. Наверху, над обрывом, следующая лошадь встала на дыбы и захрипела, а эта поднялась, и наездник вывел ее из реки под уздцы, горбясь от стыда и досады...

Мать тоже помогла отцу не упасть. Она сама поехала в университетский профком, и что уж она там объясняла — Бог весть. Отец ждал ее на даче, чертя на листах формулы, занимался. Бабушка из своей комнаты старалась не показываться, но когда ей нужно было поставить чайник, — готовили мы на плитке на той же веранде, — то выходила молча, поджимая губы брезгливо. Этот кошмар длился несколько дней, и меня, чтобы удалить из эпицентра, отправляли прогуливать сестренку, запрягая в коляску. Однако я все прекрасно понимал. Я верил, что отец удержится в седле и все пойдет по-прежнему. Отец будет делать утреннюю зарядку в саду, а мать опять будет называть его Юрочка и звать к завтраку, уже накрытому на веранде. А меня перестанут отсылать гулять с коляской, как какого-нибудь маменькиного сынка, и моя сестрица выживет. Смерть же ей грозила потому, что, когда мы прогуливались по аллеям парка в соседнем санатории, я отпускал коляску по длинной лестнице вниз. Коляска прекрасно скакала по ступеням, сестрица в ней гугукала и смеялась, а я бежал рядом и ловил ее транспортное средство лишь в самый последний момент. Что было бы, если б я, скажем, споткнулся, одному Богу ведомо. А ведь я тогда был невеждой и еще не видел фильма Броненосец Потемкин. Но мне хватало ума не рассказывать об этих рискованных развлечениях дома, и бабушка так никогда обо всем этом и не узнала. До самой ее смерти.

Как собрать скелет

Поздней осенью с перемещением на Грицевец я перестал быть провинциалом, мальчиком из предместья, но восьми лет вступил в столичную жизнь, как если бы нищий чудесно обернулся принцем. Я оказался помещен судьбою — что с того, что не надолго, — в прекрасную географию нутряной Москвы, в уголок мира между Арбатской площадью, Гоголевским бульваром, Большой Знаменкой и переулком по загадочному имени Сивцев Вражек. Двухэтажный красного кирпича увитый сухими плетями плюща дом кооператива РАНИТ таился будто за пазухой больших темных зданий, отгороженный от их гулких дворов-колодцев высоченной обглоданной временем стеной из того же кирпича, из какого был сложен сам. Это был дом-барин, всем своим видом показывающий, что он — из бывших, при этом у него под боком стояло еще буквой Г деревянное строение, похожее на людскую, с хлипкими крылечками, но в отличие от своего мрачного хозяина — в веселой желтой штукатурке. Много позже я узнал, что именно в этом домишке, в кукольной двухэтажной пристройке с выходом прямо в скромный палисадник, жил некогда автор либретто Гусарской баллады, успех которой, кажется, не уберег его смешаться с лагерной пылью.

Из этого тесного и замкнутого двора во внешний мир вела единственная, не считая навсегда запертых железных ворот для автомобилей, деревянная калитка, возле которой вечно стоял солдат с автоматом. Часовой охранял, конечно, не быт и покой немногочисленных

жильцов, но самого министра обороны, резиденцией которому служил стоявший здесь же особняк тоже бывшего Рябушинского. Оказавшись за калиткой и подмигнув серьезному солдату, можно было идти тремя путями. Если пойдешь прямо, то попадешь на маленький каток, который заливали уже в ноябре, — не могу сказать, зачем он был нужен, наверное, просто использовали летнюю площадку, где солдаты из охраны важных военных учреждений летом играли в волейбол. Если пойти направо, то окажешься на огромной площади Генерального штаба, в будние дни наполовину заставленную цвета жидкого кофе с молоком Победями и черно-белыми служебными Волгами, а в выходные — совершенно пустую, на ней можно было прекрасно гонять в футбол. Наконец, левый путь выводил на улицу Маркса и Энгельса, посреди которой стоял роскошной эклектики дореволюционный доходный дом с лепниной по фасаду, с богатыми эркерами, с тяжелым каменным крыльцом единственного подъезда. Здесь тоже были возможны варианты. Если направиться налево, то можно было выйти к угловому магазинчику Соки-Воды, где на скромную мелочь продавщица в белом фартуке могла налить в граненый стакан из круглой перевернутой толстого стекла пирамиды с краником тягучего и густого бурого сливового сока, а спустившись вниз по улице Фрунзе, оказаться на многое сулящем распутье: прямо — Боровицкий мост, слева — Пашков дом и старые жилые дома напротив, направо Волхонка. Но на Волхонку можно было попасть и иначе, свернув перед важным домом на Маркса-Энгельса направо, миновав торец Пушкинского музея и выйдя прямо к огромной

клубящейся паром воронке из-под храма Христа Спасителя, в которой тогда уже был устроен плавательный бассейн Москва.

В кооперативе РАНИТ оставались еще не добытые в тридцатые работники науки и техники — так расшифровывалось это название; здесь соседи пугали одного собственными инфарктами и вызовами скорой, ходили друг к другу в гости, играли друг с другом в шахматы на время, сильно ударяя ладонями по штырькам на специальных часах, здесь увлекались филателией и выменивали друг у друга редчайшие треугольные марки независимой некогда республики Тува, здесь держали породистых нервных болонок, ворчливых пикинезов и в одной из квартир — сонного дога, начищали старое, потемневшее от смутного времени столовое серебро, а со стен и с комодов с фотографий, выполненных в манере Свищева-Паола, со старорежимным достоинством смотрели из-под полей светлых шляп светлые, в дымке, дореволюционные лица.

Жившие в своем мирке и не желавшие выглядывать наружу оставшиеся обитатели этого первого в Москве жилищного кооператива были совсем не в себе, существуя будто в осаде. Но и сумасшедшими в нынешнем значении этого слова их было не назвать, они просто устали от времени и выпали из жизни. Их преувеличенная старомодная вежливость при встречах в подъезде и на лестничных площадках, а потом долгая и кропотливая возня с запорами, задвижками и цепочками на тяжелых, обитых для тепла дерматином на ватной подкладке, дверей заставляли ожидать, что внутри их жилищ творится нечто скрытое и чудесное, тем более

что в этом доме не было коммунальных квартир, только отдельные.

Я где-то уже рассказывал, как попал сюда мой отец. После ареста своего отца и смерти матери он остался на попечении бездетной тетки, которая была замужем за бывшим коллегой своего погибшего свекра, русским немцем-инженером, обладателем квартиры в этом странном доме. Чудаковатыми были и молчаливый хозяин, и сама квартира. К моему водворению тетка моего отца давно умерла, и получилось так, что эти два случайных родственника жили вместе, старый и молодой, безуспешно стараясь не раздражать друг друга. Я по молодости не мог понять особенности этого жилищного вопроса, но чувствовал себя неуютно и одиноко без родных женщин. И старался как можно больше времени проводить на дворе. При том что отец прилежно и наивно ежедневно переводил меня через дорогу, провожая в школу, я, сбегая с уроков во втором классе, самостоятельно без спросу исходил все прилегающие улицы и переулки и даже был однажды в гостях у своего давнего, позапрошлого друга по деревне Андреевка, найдя его по оставленному им адресу в нынче давно снесенном том самом длинном доме на Манежной, напротив библиотеки Ленина. Алешка не врал: он жил прямо под боком Кремля в такой длины коммуналке, каких и на свете не бывает. Впрочем, меня едва узнали и приняли прохладно, хоть и угостили чаем со сгущенным молоком. Я убедился тогда, как нестойка бывает былая отпускная дружба, и потом всегда выкидывал адреса и телефоны, которыми так любят обмениваться наши восторженные, но неверные соотечест-

венники, едва проедут как-нибудь вместе в вагоне-ресторане от Запорожья до Джанкоя.

Впрочем, мальчишки, жившие со здешними чудачковатыми взрослыми, были вполне обыкновенные, не без желания тебя надуть при игре в фанты, нечестно толкнуть, потому что ведь обиженный обычно кричал так нечестно и мы так не договаривались, задиристые и тароватые. Скажем, два брата с первого этажа — старшего звали Генка, — несмотря на то что отец у них был доцент, а дедушка — нумизмат, пытались стибрить у меня новую шапку-ушанку, исподтишка сорвав с головы, но я стоял на страже своей собственности, хоть потом они и грозились меня побить. Я не испугался, пусть и был помладше и не научился еще верховодить, не испугался же потому, что был уже не один: в той самой Гобразной пристройке у меня завелся дружок, у которого был телевизор КВН. С ним мы рассматривали географические карты мира, и у него я несколько раз смотрел Веселые ребята, и это нас сблизило настолько, что мы обещали друг друга в обиду не давать. Впрочем, это был домашний мальчик, тихоня, особых надежд на союз с ним питать было нельзя... Но было нечто, что объединяло мальчишек этого бедного на детей двора, заставляя забывать обиды и счеты. А именно: мы вместе дружно дразнили здешнюю дворовую сумасшедшую.

Старуха была помешана, но безвредна. Взрослые говорили, что такой она вышла, но откуда и куда она вышла, мы не знали, понимая дело так, что такую уж она получилась. По-видимому, ей было неуютно в четырех стенах, а, быть может, ее выпроваживали на улицу что ни день родственники, но в любую погоду, заку-

танная, с выбивавшимися из-под темного оренбургского платка седыми патлами, она предлагала всякому встречному конфетку в засаленной обертке. Но мы-то уж знали, что никакой конфетки внутри нет, мы подстергали старуху с тем, чтобы громко разоблачить, мы кричали сама съела, она пугалась, сердилась, иногда плакала. Позже мы придумали более изощренную хохму: мы подкладывали пустой фантик от конфеты Мишка на Севере на ее пути, привязанный за нитку. Когда старуха хотела его подобрать, фантик тихо уползал от нее, она же старалась догнать его, с тяжким трудом нагибаясь раз за разом, но по слабому своему уму не удивляясь его прыткости; однажды, изнуренная погоней, она попыталась наступить на фантик ногой и, хоть и была худенькой и маленькой, подломилась и рухнула с громким хряском. Она перекатывалась на промерзшем асфальте, пытаясь встать, но не стонала, а только мотала седой головой, с которой сполз платок, и сучила сухими ногами в толстых морщинистых чулках, выскочивших из-под задравшегося пальто. Мы же разбежались, попрятались, смотрели из потаенных мест, кто же ее подберет.

Странно, я не был жесток тогда, но, глядя на ворочающееся на земле старое неряшливое тело, испытывал любопытство и брезгливость, как при взгляде на раздавленную кошку, но жалости я не испытывал. Ведь старуха в своей старости была существом иной породы, нежели я сам и другие дети, иной, чем родители и даже бабушка. Ее сумасшедшая старость была родом увечья и наказания, как уродство у горбунов и одноногих, она вызывала страх и желание унижить, отойдя при этом,

конечно, на безопасное расстояние. Я не представлял себе, что и сам когда-нибудь стану взрослым, тем более старым и немощным, а бабушка была не в счет, потому что часто рассказывала, как была гимназисткой и однажды выменяла на свой завтрак у одного бедного мальчика булку в виде зайца с глазком из изюма. Бабушка знала, что тот его съест, и зайца ей было жалко. Да, бабушка когда-то тоже была маленькой, симпатичной и живой, с бантом, как девочки в моем классе, а вот корчащуюся на земле старуху представить себе гимназисткой было никак невозможно...

И еще одна жуткая тайна сближала нас, едва мы встречались во дворе. Генка поведал как-то, что на чердаке того самого пышного дома на Маркса-Энгельса живут взаправдашние воры. Это было более чем вероятно в те годы. Несколько знаменитых сталинских амнистий наводнили Москву и окрестности уголовниками. Из уст в уста обыватели передавали страшные истории. Скажем, считалось опасным ходить в кино, потому что урки играют в карты на место. Это означало, что ставкой в их безжалостных играх могла быть комбинация номеров ряда и места зрительного зала одного из кинотеатров. И поигравший уголовник должен был зрителя, сидевшего на этом роковом месте и только что смотревшего, скажем, тех же Веселых ребят, после конца сеанса порешить, зарезать в подворотне или стукнуть кирпичом по голове. Молва уверяла, что резали и стучали за милую душу. И вот Генка как-то предложил нам за ворами следить. Цель слежки не была обозначена, но, как сказали бы нынче, само приключение было самодостаточно, и вопросов здесь не возникало. Но дело было от-

чаянное. Индеец Джо из Тома Сойера был книжным и маскарадным рядом с угрюмыми и безжалостными советскими уголовниками, даже мы это понимали, поэтому предложенная экспедиция казалась не просто опасным, но сумасшедшим предприятием. Мой приятель, любитель географии и телевизора, что жил в желтой оштукатуренной пристройке, отказался сразу, заявив, что уголовники ему не нравятся, вот если бы пираты... Ага, чего захотел, сказал презрительно Генка, пираты, иди уже. Я тоже предпочел бы пиратов или индейцев, но был обитателем кирпичного кооператива, и мне никак невозможно было ударить лицом в грязь. Хотя бы потому, что шапку у меня Генка тогда уж точно отобрал бы. Кроме того, чужой, незнакомый чердак вполне заменял пещеру, а можно ли было подумать отказаться от столь геккельберифинновского приключения.

Проникнуть в парадный подъезд в довольно обшарпанный холл с побитой мозаикой времен модерна на стенах не составляло труда: даже в некогда богатых домах швейцары давно повывелись, а о лифтершах и консьержках тогда никто еще не слышал. И вот как-то после уроков, часа в три, когда уж близились ранние декабрьские сумерки — в те годы еще не додумались переводить часы на зимнее время, — мы втроем поднялись на стеклянном дрожащем лифте с зеркалом на задней стенке на последний этаж этого некогда богатого дома на Маркса-Энгельса. Мы были хорошо экипированы. Я взял тайком у отца китайский фонарик, младший брат Генки имел при себе свечку и спички, а Генка прихватил маленький пионерский рюкзак и сжимал в кармане перочинный нож: на всякий случай, ска-

зал он, нахмурившись и сжав зубы. О том, что он имел в виду, лучше было не думать.

На двери, отгораживающей чердак, замка не было, но она была прихвачена скрученной проволокой. Видишь, там нет никого, сказал я. Мы будем сидеть в засаде, возразил Генка. Мы взобрались по лестнице, легко открыли проволоку и проникли в другую дверцу, поменьше, больше напоминавшую люк. Чердак был тускло освещен редким светом из слуховых полукруглых низких окон, выглядел даже опрятно, жуть отступила. Здесь не было обычного бедняцкого хлама, хотя и стояли два остова железных кроватей. Прямо посередине, рядом с большой кирпичной трубой, были сложены в кучу белые фаянсовые изразцы с синими цветами. Это были останки кабинетного камина, который оказался не надобен новым хозяевам дома. Генка, взяв у меня фонарик, осветил по углам. И произнес шепотом я же говорю. В самом темном углу, под скатом крыши, лежала куча тряпья, сбитая наподобие постели. Здесь же было кострище и валялся закопченный котелок. Они тут живут, прошептал Генка, а мы с его братом засопели от страха, боясь приблизиться к бродяжьему лежбищу. Генка пошел вперед и вдруг отпрянул, едва не сбив с ног своего перепуганного брата, который от нового испуга тонко вскрикнул. Там череп, прошептал Генка. Он, справившись с собой, отважно шагнул вперед и поднял с пола человеческий череп. Они едят людей, предположил я, трясась, вспомнив о людоедах у Жюль Верна. Они убивают друг друга, сказал Генка, будто был милиционер, в карты проиграют и убивают, здесь и кости должны быть... Но в тот раз костей мы много не нашли.

Так, одну, большую и белую, это от ноги, объяснил нам Генка, складывая череп и кость в свой рюкзак.

Но следующие экспедиции были более результативны. По углам чердака мы нашли еще пару черепов и много костей разных размеров. Однажды мы обнаружили, что котелок, который так и оставался на месте, на этот раз еще теплый, а в другой раз где-то в другом от нас конце чердака тихо мелькнула фигура, и мы, толкая друг друга, в панике побежали к люку, чтобы спуститься в подъезд. Нам было невдомек, что тайные обитатели чердака сами боятся нас.

Так или иначе, но за пару недель у Генки скопилось много человеческих костей, и он сказал, что у деда есть анатомический атлас и что он берется собрать из нашей добычи самый настоящий скелет. Он был бесстрашным и талантливым отроком, этот Генка, интересно бы знать, что с ним случилось. Превратился ли он сейчас в мирного отца семейства, да что там в отца — в патриарха, унаследовав коллекцию деда, квартиру на Грицевец в кооперативе РАНИТ, где и доживает теперь в достатке. Или все-таки, как и положено всякому русскому природному таланту, Генка давно сгинул во Владимирском центре, куда его перевели из зоны за непокорность, добавив сроку к тому, что он уж почти отсидел за хулиганку. Конечно, это — две крайности, наименее и наиболее вероятные. Но скорее он ездит на службу на троллейбусе, прирабатывая к пенсии, читает газету Вечерняя Москва, ест подогретый суп, а дети звонят редко. Так или иначе, но был он в свои ранние годы герой и собрал-таки в подвале скелет — там были отведенные каждой квартире клетушки для хранения ненужного хлама.

Младший брат соучаствовал, но я, давший клятву молчания и впервые приглашенный на показ, был потрясен и уничтожен. Это был шедевр. Скелет, державшийся на тонких проволочках, выглядел, как живой, но вышел невысок ростом, ну с нашу сумасшедшую старуху. Несмотря на то что он был кособок и нескладен, как будто принадлежал инвалиду, он даже лязгал нижней челюстью, обреченно брэнча при этом костями разной длины рук. Он смотрел на меня пустой глазницей искося, будто спрашивая, зачем его собрали из деталей, явно принадлежавших разным владельцам. Наверное, скелет помнил все их нелепые беспричинные смерти, хотя с точки зрения скелета плотское существование наверняка представляется чем-то избыточным. Во весь рост перед компанией встал вопрос: что со скелетом делать? Бедная наша фантазия интеллигентных детей не поднялась выше того, чтобы решить напугать скелетом всю ту же дворовую сумасшедшую. Сюжет был придуман быстро. На скелет надеваются валенки, юбка, старое пальто, а голова повязывается платком, благо этого старья было много в закутах подвала; потом это пугало во дворе встречает старуху, и она протягивает ему свой засаленный фантик. Мы громко ухаем и дергаем за веревочку, скелет оборачивается и падает старухе под ноги, причем было предусмотрено, что платок сползает при этом с голого черепа...

Все было проделано в лучшем виде. Шел снег. Сумасшедшая старуха ковыляла по двору и, с радостью увидев перед собой незнакомую гражданку, протянула ей конфетку. Скелет обернулся. Но упал не он, упала старуха, что не было предусмотрено. Сейчас, вспоминая

эту жестокую шутку, я могу лишь догадываться, о чем подумала старуха в последнюю свою минуту. Быть может, она поняла, что сама смерть в ее же внешнем обличье издевательски явилась за ней, впрочем, для того, чтобы подумать так в подобной ситуации, не нужно быть умалишенным. Ее хоронили без музыки — так, как жила. Удивительно, но Генка в этот день спрятался, чтобы не видеть, как будут выносить простой гроб из дома. Я же, замерев, стоял во дворе и смотрел. Так или иначе, я ведь впервые в жизни стал соучастником непредумышленного убийства.

Как достать оружие

К весне я был исторгнут судьбою и политикой — каждому москвичу по пять квадратных метров жилой площади — из центра столицы, поскольку семья наша воссоединилась в стоявшем посреди моря грязи новом восьмизэтажном кирпичном университетском доме в двух комнатах трехкомнатной квартиры. Нынче этот район, что называется, престижный: посольские особняки, модные кондоминиумы, скверы и приличные магазины, тогда же это была непролазная окраина расплзавшейся на глазах Москвы, где на месте вчерашних сел торопливо строились новые временные типовые дома, рассчитанные на тридцать лет пользования, но как миленькие стоящие и поныне. Села, чтобы освободить место под новостройки, выводились выборочно по какому-то клочковатому плану. И получалось, что напротив окон общежития университетских иностранных студентов крестьянин с сохой пахал огород на лошади,

на склоне ближайшего к нашему дому оврага был выпас скота, а молочница приносила нам молоко сразу после дойки, лишь переходя с бидоном через дорогу. Город жестко вторгался в сельскую жизнь, но и та цепко сопротивлялась, что было ей тем легче, что многие новоиспеченные горожане жили в панельках, как они говорили, возведенных на месте их же вчерашних лачуг.

Здесь, на задах новой Москвы, текла довольно дикая жизнь. Нельзя сказать, чтобы творился повседневный разбой, но процветало беспричинное хулиганство, никому не приносившее пользы, как на поверхностный взгляд бесцельны тектонические толчки и сдвиги, происходящие в результате смещения социальных пластов. Наш дом оказался как раз на разломе, он стоял между Нижним Мосфильмом, Раменками и Филями, и подростковые армии этих районов сходились в схватках именно здесь, на всяком удобном для битвы пустыре. Самым привлекательным с этой точки зрения был большой и широкий, ухоженный — по контрасту с перекореженной грязной округой — бульвар на улице Дружбы перед китайским посольством. Милиция, конечно, не дремала, зачастую агентура опережала ход событий, и прибывшие для схватки отряды обнаруживали, что поле, выбранное для брани, оцеплено милицейскими газонами и нарядами с собаками, и с криками облава не случившиеся на этот раз бойцы рассыпались по окрестным подворотням. Но чаще милицейским не удавалось предотвратить схватку.

Дивизии, как правило, формировались по принципу места проживания, устная молва передавала, что, мол, в пятник Нижний Мосфильм будет вызывать Фили,

то есть главенствовали патриотические настроения. Битвы бывали кровавы, но, как правило, не смертоубийственны, раненых не добивали. Богатыри сражались штакетником, велосипедными цепями, автомобильными антеннами, обрезками арматуры, наиболее серьезные ратники имели еще и кастеты с шипами, в которые удобно продевалась пятерня, низовой состав обходился зажатой в кулаке свинчаткой. Однако самыми массовыми и кровавыми оказывались драки, вдохновленные социальными мотивами, так сказать, на почве разницы гражданского состояния, когда под лозунгом айда бить городских или, напротив, сегодня дадим деревне сходились сотни озлобленных бойцов, обуянных классовой ненавистью. Неважно было, что многие городские были вчерашними деревенскими, судьба лишила их собственных жилищ и вытолкнула в новый слой, и встать на сторону недавних своих братьев по классу они уже не могли. Замечательно, что в этих случаях милиция, как правило, бездействовала. Скорее всего потому, что сами милиционеры, вчерашние крестьянские парни, еще не имевшие своих квартир и, отстав от воронов, к павам не приставшие, классово не определившиеся, сочувствовали деревенским, но и открыто помогать было не с руки, разве что своим участием.

Это противостояние тлело ежедневно, особенно ярко проявляясь в здешних школах, и это уже прямо касалось меня и нескольких моих приятелей по новому дому, тоже из преподавательских семей. Нас не то чтобы сильно били, но постоянно держали в страхе. В районной школе в нашем классе, кроме нас и — почему-то

в ощутимом количестве — цветущих еврейских девочек из пятиэтажек с замечательными кокетливыми именами Мира Клемес, Галя Луцкая или Аня Понизовская, учились и сельские ребята — из ближайшего села, и все они сидели на задних партах, будучи отпетыми двоечниками. В их компании выделялся смиренным нравом лишь неведомо как затесавшийся армянин Мирзоев, плохо знавший по-русски, но он был, конечно, тоже из новостроек, а примыкал к сельским хулиганам лишь по неспособности к какому-либо обучению. Трудно сказать отчего, но расправы приходились чаще всего на третью перемену, ближе к концу занятий. Особенно сильно били двух поляков, по русской традиции считавшихся евреями, поскольку не на ов, а именно Сашу Рачинского и толстого Мишу Ольховского, а меня, с моей белорусской фамилией, били чуть меньше, быть может, потому, что я состоял в дружбе с Валеркой Филипповым, Филиппком, как он прозывался. Тот был из моего подъезда, но городской в первом поколении, то есть смыслящий в деревенских интригах, отец у него был столяр-алкоголик, а мать — лаборантка на кафедре моего отца. К тому же у него был старший брат, учившийся в ремеслухе, так что при случае он мог пригрозить не то брата позову...

Мне, мальчику домашнему и книжному, бабушкиному внуку, должно было бы трудно существовать в этом мире, организованном по принципу убийственного уравнилельного коктейля, на какой способен только русский сметливый ум: марочного коньяка и подзаборного портвейна, как называлось отчего-то в советские времена крепленное спиртом пойло. Но, как ни удиви-

тельно, я — по юности, наверное — не переживал это положение дел драматически. В отличие от бабушки. Когда мы переехали в этот самый университетский дом, моя мать как-то спровадила ее погулять. Бабушка спустилась на лифте, вышла из подъезда и тут же оказалась в кругу переселенных на этаж деревенских старух, лузгавших у крыльца семечки. Причем жили они в этом же доме, то есть приняли бабушку за свою. В течение двадцати последующих лет бабушка больше никогда не выходила из квартиры, а дышала воздухом на балконе. А позже она предпочитала и вовсе не покидать свою комнату. Этот удивительный факт я объясняю тем, что бабушку — это после и тюремных очередей, и самостоятельной ссылки, и жизни в Химках — впервые не опознали, как представительницу высшего сословия. И это знаменательно: бабушка на дух не приняла именно хрущевскую эпоху, которая оказалась действительно демократической. Она совершенно точно почувствовала этот перелом: Россия кончилась для нее не в восемнадцатом, как для Бунина с Набоковым, и не в тридцатые, как для многих других, но со смертью Сталина. Нет, его она, конечно, презирала, но он был хоть и каннибал, но как-никак последний семинарист царского времени у власти и всячески поддерживал общественную иерархию. Это уже потом во власть пошли люди новой выучки и сословия оказались отменены. Именно тогда Россия принялась догонять и обгонять Америку и сажать вслед за ней кукурузу, что не случайно — страна в культурном отношении окончательно сошла с орбиты Старого Света. Пришла весна на Заречную улицу, что, полагаю, если б бабушка видела эту с потугами на жизнен-

ную правду картину о социальной однородности советского народа, заставило бы ее только горько усмехнуться. Бабушка и мною почти перестала интересоваться, а перечитывала письма Тютчева. Теперь я понимаю, отчего я больше не вызывал ее интереса, как, впрочем, и вся окружающая жизнь: не только потому, что я сам перестал в ней нуждаться, но из-за того в первую очередь, что на ее глазах из меня вылупился советский мальчик, гордящийся тем, что его приняли в пионеры. Из птенца лебедя ее внук на глазах превращался в советского нагловатого гуся, и могла ли бабушка быть пленена этой метаморфозой...

Между тем бабушка не могла и подозревать, с какой жизнью ее внук сталкивался, едва переступив порог и оказавшись во дворе. Там шла война. Чтобы дойти до школы, нужно было иметь немало мужества. Не принадлежа ни к какой шайке, наша компания держалась пугливой стайкой, рассыпавшейся при первой опасности. Иногда, если с нами шел Филиппок, мы, потупившись, беспрепятственно поднимались на школьное крыльцо, не зная, дойдем ли целыми до дома после занятий. Учителя же то ли делали вид, что пребывают в неведении, то ли отворачивались от бессилия. Потому что и в стенах школы творились вопиющие безобразия. Скажем, как-то во время пионерского утренника, проводившегося в актовом зале на пятом этаже по случаю какой-то годовщины, среди учеников разнеслась весть, что Верку имеют хором в подвале, в физкультурной раздевалке. И кто-то из нашей шпаны ткнул меня в бок: что ж ты, мелюзга, становись в очередь, попробуй, я — уже...

Верка была истощенной девочкой из ближайшего села, лет тринадцати, ходившая с ножом. Она была дочерью матери-одиночки, гнавшей на продажу самогон, то есть фигура известная. Все в школе знали, что Верка уже не девочка. Она училась классе в шестом или седьмом, но лазила по деревьям и была отпетой пацанкой. У кого она, совсем плоская, похожая на заморыша, могла бы вызвать нежные чувства — загадочно, но очередь, тянувшаяся из подвала, достигала первого этажа. По-видимому, здесь сыграла роль атмосфера школьного праздника, и кто-то просто так, от безделья и энтузиазма, под хоровые пионерские песни, выкрикнул а давай-ка Верку, и ребята воодушевились за компанию...

...Пора было вооружаться. Мы с Рачинским и Ольховским каким-то образом разнюхали секрет изготовления свинчатки. Рецепт оказался прост, но нелегко в исполнении. Нужно было найти кусок кабеля, заизолированного свинцом. Отодрать изоляцию, и потом плавить свинец в форме на костре. На все про все у нас ушло около недели. Костры мы жгли постоянно, прячась за домами, уходя как бы в ночное — печь картошку, не знаю, отчего в нас, городских и домашних, проснулась эта природная романтика. В качестве формы годились спичечные коробки: когда мы переливали в них расплавленный свинец, тот застывал скорее, чем коробок истлевал. Свинчатки получались размером прямо-таки по нашим детским рукам, но им не доставало товарного вида, из них торчали какие-то ошметки, которые мы пытались отскребать перочинными ножичками. Как-то я похвалился одним из таких изделий перед Филиппком. Тот взвесил свинчатку на ладони, поощрительно пока-

чал головой, сказал по-хозяйски надо бы рашпилем, впрочем, я понятия не имел, что это за инструмент. Но так или иначе теперь я был вооружен. Я носил свинчатку в кармане, хотя драться не умел.

Между нашими домами и школой был глубокий и широкий овраг. Потом-то его засыпали, но той весной он к апрелю наполнился талой водой, и окрестные мальчишки наперебой строили плоты из досок, ящиков и даже целых бревен и устраивали морские бои, отпихивая неприятельские плав-средства длинными жердями. Я по мере сил участвовал в кораблестроительстве, и у нас с Филиппком, с которым мы все больше сближались на почве дворовых наклонностей, было вполне приличное судно, погружавшееся под нашим весом в воду лишь по щиколотку резиновых сапог. И вот однажды я стал свидетелем удивительной картины. В этот день ближе к закату на одном из берегов оврага, в котором я осваивал азы навигации, появился отряд вооруженных деревенских. Они целенаправленно шли в сторону Дружбы, так для краткости назывался бульвар, но это не была какая-то отдельная шайка малолеток, потому что когда голова отряда уже исчезла за краем оврага, по пологому склону молча шли все новые бойцы. Это была эпическая картина, напоминавшая сцены пугачевского бунта из известного фильма Капитанская дочка или, что ближе, из картины Щорс. Разве что у этой пешей армии не было лошадей. Конечно, это была дивизия оборванцев: кто в шапках-ушанках, кто в кепалях, кто в телогрейках, кто в пальто, кто в кирзовых или резиновых сапогах, а кто в китайских кедах, некоторые даже в валенках с галошами. Деревня идет, прошептал

восхищенный Филиппок. Этот людской поток был так могуч, так целенаправлен, будто воодушевлен чьей-то очень сильной волей. Стихия этого движения заражала, и мы, захваченные ею, причалив свой плот и побросав свои жерди-шесты, тоже пошли, не зная, ни куда мы идем, ни на чьей мы стороне. В воздухе ощущалась горячка, глаза идущих были воспалены и мутны, возбуждение этой массы было неотразимо прекрасно. Мы шагали вместе со всеми, скользя и падая на развезенной многими парами ног мокрой глине, поднимались и опять шли.

Я не помню, как оказался в гуще боя. Задним числом выяснилось, что били раменских, однако как их было распознать в этой толпе — неизвестно. Мне кто-то сильно дал в ухо, и я, сжимая свою свинчатку в кулаке, тоже заехал кому-то по роже. Потом я еще несколько раз махнул рукой по воздуху и получил сильный удар по голове — наверное, крупной штакетиной. Вынес меня из боя Филиппок, но под моей шерстяной шапочкой даже крови не было, лишь набухла на затылке крепкая шишка. С кружащейся головой я позволил Филиппку завести меня под арку большого дома и вдруг понял, что передо мной стоит Филиппок-старший. А младший говорил ему, что Колька классно махался. То есть за проявленную воинскую доблесть я был представлен старшему по возрасту и, соответственно, по чину. Со мной пойдешь, с Рогачом познакомлю, сказал старший Филиппок. Это была высокая честь, поскольку Рогач был одним из лидеров местной городской группировки, которая, как оказалось, при моем посильном вкладе на

этот раз рассеяла деревенских, с каковыми, впрочем, я и прибыл на место сечи.

Но мое посвящение в дворовые рыцари не состоялось, а закончилось постыдно. Мы действительно нашли Рогача в дальнем дворе. С Дружбы уже слышны были милицейские трели, какие-то фигуры обгоняли нас, на бегу утирая окровавленные носы, исчезали в потемках. Рогач стоял в окружении приближенных — это был приземистый парень с очень низким лбом и хмурым взглядом, настолько неприятным, что смотреть на него было тяжело. Вот, сказал Филиппок-старший и подтолкнул меня к вождю. Тот процедил этот, что ль, оглядел с ног до головы — я был польщен вниманием и смотрел ему прямо в лицо, глупо улыбаясь. Ни с то ни с сего он ударил меня коротко в глаз. Я упал, а когда очнулся, то никого вокруг не было, стояла холодная апрельская ночь, были звезды на небе, которые я мог разглядеть, впрочем, одним правым глазом. Я был весь мокрый, в глине, и туго работала голова. Я с трудом сообразил, в каком дворе я нахожусь, но все-таки скоро вышел на дорогу к дому. Меня не удивил удар Рогача, просто он показал Филиппку-старшему, кто есть кто на земле. А на меня скорее всего ему было наплевать. Я не был в обиде, я лишь понял, что, кажется, мне с ними не по пути. Себя мне не было жаль, мне не в чем было себя упрекнуть, сказал же Филиппок-младший, что я отважно махался. Но по дороге домой я выбросил свинчатку в канаву и больше никогда не носил при себе оружия.

Как кормить рыбок

Третью комнату в нашей новой квартире занимала семья механика университетской автобазы Михайлова, состоявшая из трех человек: глава семьи, собственно автомеханик Михайлов, его жена, больничная санитарка, и их сын, мой ровесник по имени Славик, которого во дворе за малый рост и сволочной характер звали Сявка. Отец Сявки был ростом едва с мышь, мать — еще меньше, маленький колобок со смешным носиком, переносица вровень с пухлыми щечками, и сам Сявка — мне по плечо, но у него уже торчали в углах губ темные пучки. Помимо того что мы были коммунальными соседями, ходили в один сортир и утром перед школой пили чай с бутербродами на одной кухне, нас сближали и общие обязанности, возложенные на нас родителями в порядке, видно, трудового воспитания. А именно: мы с Сявкой должны были по вечерам вместе протирать мокрой тряпкой линолеумный пол в коридоре и на кухне.

Ситуация, если глядеть на нее извне посторонним глазом, выглядела довольно комично. Расселены мы оказались так: в большой комнате с балконом, глядевшим на Ломоносовский проспект, жили бабушка, моя кроха-сестра и я. В дальней, самой маленькой комнате в квартире отец и мать. А в средней, соответственно, автомеханическое семейство. Мой отец в то время по вечерам писал докторскую диссертацию и именно тогда подбирался к теореме, которая позже получила его имя и вошла в курс статистической физики по всему миру. А за стенкой всякий вечер шел негромкий скандал по по-

воду того, что глава семьи в конце рабочего дня на своей автобазе опять распил поллитру на троих. Подчас, впрочем, скандал выплескивался и в коридор, в тех случаях, кажется, коли вдобавок к поллитре бывал раздавлен и прицеп, дополнительная четвертинка. Мирный маленький механик жену не бил, самого же его в случаях перебора отсылали с глаз — на кухню, где он, сидя на табурете в стоптанных тряпичных тапочках на босу ногу, хлебал кислый настой чайного гриба из трехлитровой банки, обвязанной по горлу грязной марлей, и мутным взглядом наблюдал жизнь рыб в своем аквариуме, освещенном специальной лампой. Аквариумные рыбы были страстью механика Михайлова, гриб — любимое растение его жены, которое она аккуратно каждый день подкармливала сахаром и спитым чаем. Это было слоистое и неряшливое, с растрепанными краями, в разбухших чайниках создание, похожее не медузу. Интересно, что и рыбки жили на кухонном столе, и гриб существовал на кухонном подоконнике, то есть семья автомеханика держала своих любимцев отчего-то именно в месте общего пользования, а не в своей комнате...

Не исключено, что в подобном принципе расселения сотрудников университета был некий просчитанный смысл: доцентов намеренно поселяли вместе со слесарями, что укрепляло принцип социального равенства трудящихся. Но в советской стране, где жизнь текла ни шатко ни валко и все делалось шаляй-валяй, столь остроумный, но несколько отвлеченный принцип вряд ли мог последовательно проводиться в жизнь. Скорее при выписывании ордеров никто толком не смотрел, кого с кем поселить, лишь бы отделаться и распихать, тем са-

мым выполнив план по очередникам. Но если смотреть изнутри, на самом деле положение нашего семейства было довольно мучительным, тогда как приехавшие из раменского барака соседи, напротив, чувствовали себя, по-видимому, счастливыми.

Как я уже говорил, бабушка, состарившись, все больше и глубже затягивалась в прошлое, чем дальше шло время — тем во все более отдаленное, дореволюционное, и научилась отстраняться от получившейся, как настой из гриба, из этой революционной закваски булькающей вокруг жизни. В то же время моя трехлетняя сестра, разумеется, требовала внимания. Мать преподавала в своем институте, отец жил в мире формул и элементарных частиц и свет Божий видел согласно законам квантовой физики, а если приходилось отвлечься и очнуться, то искренне полагал, что перед членами своей семьи чист, сделав для них все, что мог. В этой ситуации мною, конечно, никто не занимался, разве что мать приносила из институтской библиотеки для меня книжки, сообразуясь со своим вкусом, и я взахлеб читал темно-зеленые тома с Крошкой Доррит и Домби и сыном, а еще знал стихи, что декламировали когда-то в компании студентов ИФЛИ, к которой матушка примыкала до замужества:

Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей...

И еще что-то по Курсантскую венгерку, причем одна венгерка, толстенькая, веснушчатая и хохотушка, училась в моем классе, но отчего курсантская? Возможно, это было такое название, ну как шоколад гвардейский. Я спросил об этом бабушку, и она ответила —

с моей точки зрения не попад, что это какие-то глупости... танцы, что ли... И еще помню один воспитательный материнский порыв. Как-то она обнаружила тот факт, что на одной из открыток с репродукциями картин из коллекции Эрмитажа ню было мною аккуратно обведено по контуру дамских форм хорошо обслюнявленным химическим карандашом. Миссия моего начального сексуального просвещения легла отчего-то именно на мать — бабушка была не годна, отец предусмотрительно самоустранился. И я мог почерпнуть из этого урока, что дело не в том, что модели голые, а в том, что художник любит красоту человеческого тела. Умный, я без смущения сказал, что, мол, тоже люблюсь, голые тетki на картинах действительно были хороши, в теле, особенно у Рубенса, и матери крыть было нечем, воспитательный порыв на этом и выветрился, хотя она осталась, кажется, при мнении, что сын растет у нее не без склонностей скорее к пороку, нежели к рисованию.

Денег у всех в стране тогда было мало, наша семья не была исключением, и под давлением матери отец еще и подрабатывал, взявшись за хозтему. Мне и сейчас трудно сказать, что такое это было, но что-то военное, секретное. Причем поскольку отец был беспартийным, то у него был неполный допуск, а у его менее одаренного коллеги Мякишева — полный, и на этой почве возникали недоразумения с оплатой, поскольку отцу приходилось работать под прикрытием Мякишева, но за двоих. Кроме того, отец написал еще и более или менее популярную книгу о квантовых генераторах, и помнится, я помогал ему вставлять формулы во второй

и третий машинописные экземпляры книги, то есть старательно копировал интегралы, и получались у меня сущие каракули, контуры дамских телес выходили убедительнее.

Так и текла жизнь в нашей маленькой коммуналке, текла и мерцала, поспевая за жизнью вокруг. Мы с Сявкой были уж пятиклассники, воровали из кармана пальто его отца папиросы Север — мой отец не курил никогда, — их потом отбирал у нас Филиппок-старший в обмен на покровительство — как я уж говорил, довольно ненадежное. Мы и сами пробовали курить, блевали. На углу Университетского и Ленинского открыли магазин Кукуруза. Там продавали кукурузный напиток Чудесница, сделанную по американскому рецепту воздушную кукурузу, кукурузные хлопья глазированные, кукурузные конфеты в виде липких белых шершавых гусениц и кукурузу рассыпную в консервных банках. Если мы хорошо себя вели, то нам давали по гривеннику, мы покупали себе по пачке хлопьев и жевали, чувствуя счастье. В мае играли в футбол за домами. Я стоял на воротах. Как-то семиклассник Груздев из соседнего дома, игравший в нападении, снял майку после матча, показал безволосую грудь и спросил, болят ли у нас соски. У нас не болели. Он с гордостью сказал, что у него — болят...

Летом семья Михайловых собралась на море. В те ранние шестидесятые поездка к морю была знаком того, что жизнь состоялась и мы обязательно догоним Америку, если потерпеть еще чуть-чуть. Зачем недавним жителям барака надобно было ехать именно на море, а не на свежий воздух, пахнувший клевером, к деревенской родне в Рязанскую губернию — неизвест-

но, ведь это было и хлопотно, и дорого. Вообще говоря, это было почти так же нелепо, как если бы по весне автомеханическая семья отправлялась бы на воды. Мой отец, к примеру, море, не в смысле — водоем, а как тип отдыха, терпеть не мог и предпочитал как раз деревню. И я отчетливо представляю себе на морском побережье семью автомеханика Михайлова.

Вот идут они поутру на городской пляж: неважно, что похолодало и накрапывает дождь, ведь так или иначе необходимо оправдывать непомерные траты на железнодорожные билеты и на квартирную поденную плату — рубль с носу, считай, трешка в день улетела. Жена в большой соломенной шляпе с розовым бантом на тулье, с залепляющим ее несуществующий нос сырым обрывком газеты, катится на шаг впереди своего мужа-механика, который, с обвязанной носовым платком с узелками головой, несет позади нее клеенчатую хозяйственную сумку с принадлежностями. Сявка плетется позади отца, в каждой руке несет по резиновой ласте — вполне бесполезные для него приспособления, но мать говорит, что без ласт он не научится плавать. Часа три они томятся на пляже: кругленькая жена ворочется на жесткой гальке, беззвучно вздыхает механик, Сявка же бродит по кромке моря, бросая в воду камушки, которые не желают подпрыгивать на поверхности воды, как выходит у других мальчишек. Потом семья идет обедать в столовую самообслуживания, и мало кто помнит, что еще в начале тридцатых нарком пищевой промышленности Микоян во время своего визита в Америку подсмотрел этот принцип в нижнем Манхеттене в знаменитой закуской Каца. Но, перед тем как

самообслужиться, механику Михайлову позволена вольность, а именно — выпить граненый стакан сухого кислого вина, опустив в щель автомата-поилки пятнадцатикопеечную монету... Ранние шестидесятые вообще стали эпохой невиданного достатка, и даже малоквалифицированные рабочие получили свои мелкобуржуазные — мещанские, как тогда говорили, радости, правда в виде эрзаца. На помойку отправился бабушкин бидермайер, его заменила пластмассовая мебель из ГДР на гнутых дюралевых ножках. Пусть муку давали жильцам в жэках по талонам, но были в открытой продаже ветчина, сыры костромской и ярославский, ананасы, водка стоила дешево, в продаже появились невиданные прежде сигареты с фильтром и сигареты Друг с золотым ободком. Можно было записаться в очередь на машину, купить телевизор и ковер по спискам. Сшить костюм в ателье по госрасценкам. При этом — загадка души человеческой — про благодетеля Хрущева только ленивый не рассказывал анекдоты и в народе его не любили. Но это — отступление. Важно другое: на время морского вояжа соседей нашей семье было вменено в обязанность ухаживать за рыбками.

Рыбки — это вам не кошки, существа бесхитростные и покладистые, с понятным рационом питания. Рыбки пугливые, юркие, лупоглазые, склонны сожрать друг друга или на худой конец собственное потомство. Автомеханик объяснил моей матушке, вручая банку с сухим кормом, что у них хороший аппетит и потому всегда должна быть еда, но в меру, а что на ночь аквариум надо накрывать темной тряпкой — на кой черт, если и так темно? — и ни в коем случае нельзя перегревать. А

вот здесь еще трубочка, иногда им надо подавать кислород. Наверное, моя мать была в панике, она боялась техники и ничего не понимала в ихтиологии, но и отказаться было немыслимо — такая пустяковая услуга входила в коммунальный политес, если вы хотели, как тогда говорили, чтобы с соседями были приличные отношения. Пока Михайловы загорали, моя матушка нервночески то и дело бегала к этому самому аквариуму, без меры сорила туда корм, поправляла лампу нагрева, по ночам спохватывалась, что забыла накрыть этих михайловских рыб, бежала босиком из постели... Помнится, мой веселый папаша всю потешался над этой рыбной неврастением своей жены. За завтраком он интересовался, хорошо ли ели ее подопечные. И качествен ли подогрев, не то они могут простудиться. Не выпрыгнули ли кто от жажды свободы за ночь на сушу. Он не знал еще, как дорого будет ему стоить это легкомыслие. Потому что к возвращению загорелого и несколько взвинченного долгим и нелегким отдыхом семейства Михайловых из Крыма — механик нес под мышкой полную банку гальки — рыбки в аквариуме естественным образом сдохли.

Только теперь стало ясно, как сдержанны были до сих пор эти люди, как деликатно они подавляли в себе классовое отвращение, сколько разного накопилось у них на душе. Жена кричала, намеренно не прикрывая дверь в свою комнату, что она знает — это бабка отравила рыб, потому что никогда не здороваается. Здесь, к слову сказать, жена автомеханика была отчасти права. Не в смысле бабушкиного рыбоборства, но в том, что бабушка, коли была надобность покинуть комнату,

скользила по квартире неуклюжей тенью, пытаюсь оставаться незамеченной, и прятала глаза. Они нас ненавидят, кричала Михайлова, они считают нас ниже себя — вот до каких глубин психологии может дойти в час несчастья набравшаяся сил за время отпуска простая русская женщина. Сам автомеханик стал больше пить, сидел всякий вечер на общей кухне перед пустым аквариумом, безысходно качая ногой в тапочке. Отец предлагал ему денег с целью приобретения новых экземпляров скалярий, цихлозом или принцесс Бурунди — механик обычно называл их бурбунди, но теперь лишь скорбно смотрел на соседа, молчал, крепче сжимал в зубах измусоленную папиросу. Он немо давал понять, сколь черство это предложение, потому что друзей ни за какие деньги не купить и старых уж не заменишь. Один лишь Сявка не поддавался семейному горю, подмигивал мне, коли ему удавалось слямзить у отца курева, но протирать совместно со мною пол ему было отныне запрещено, только по очереди. Поганенькая и прежде наша жизнь теперь превратилась в тоскливый вседневный ад.

И тогда стало ясно, сколь мудра была моя мать, заставляя отца не только витать в облаках теории, но и прозаически зарабатывать деньги на земле: из этих сбережений решено было купить Михайловым отдельную кооперативную квартиру с тем, чтобы освободить для нашей семьи третью комнату. Это не был простой план, но у отца имелся приятель на кафедре, активный человек по фамилии Филимонов, он три года работал в Афганистане, привез оттуда Волгу и являлся членом профкома факультета. При поддержке ректората, путем

сложных комбинаций фамилия автослесаря Михайлова была внесена в кооперативные списки, причем дом-башня уже был возведен по соседству, буквально метрах в пятистах от нашего. План был пусть и дерзким, но довольно скоро оказался близок к исполнению.

Мы жили в предвкушении. Была уже распределена новая площадь, утверждена планировка. Было решено, что родители переместятся в михайловскую комнату, бабушка с Катькой — в маленькую, а я останусь в большой, которая в случае прихода гостей — прежде некуда было пригласить — будет служить и столовой. Подчас наша семья сладко фантазировала, что из мебели нужно будет прикупить, я настаивал на телевизоре. Дело казалось решенным, однако мои родители плохо знали неизъяснимую душу малых сих: семья автомеханика Михайлова наотрез отказалась переезжать.

Как ни странно, совершенно непреклонен оказался именно глава семьи — даром что подкаблучник. Его жена-колобок время от времени еще давала слабину, иногда в коридоре было слышно, как она увещевает мужа в их комнате жарким шепотом, что, мол, у нас ведь кухня будет своя. Но чаще она кричала в отворенную дверь они хотят избавиться от нас, и в этом была ее горькая правда. Но тысячу раз был прав и сам автомеханик, потому что он будто предчувствовал муки, на которые его обрекало грядущее новоселье. Скорее всего он боялся, как последней беды, остаться со своей семьей наедине, его страшило будущее: ведь он никогда не жил сам по себе, но только среди людей. Он еще больше затосковал, стал огрызаться даже на жену, та тоже сделалась нервной, подчас плакала, можно было ре-

шить, глядя со стороны, что эту семью постигло какое-то внезапное несчастье. Мои родители ничего не понимали, пытались обрисовать соседям все выгоды отдельного их от нас проживания, но механик, всегда бывший смирным, теперь научился хлопать дверью, даже матерился сквозь зубы, едва моя мать попыталась исполнить поручение отца поговори с ним ты, Света. Родители впадали в отчаяние от собственной беспомощности. Они ведь наверняка считали свой план справедливым и благородным, раз всем будет только лучше: и нам, и Михайловым, и даже государству, которому в этом случае не придется тратиться на улучшение жилищных условий своих граждан, все окупят квантовые генераторы.

И вот, видя полную растерянность моего отца, который пошел все-таки на вполне разорительные финансовые жертвы, чтобы выпутаться из квартирной ловушки, прощелыга Филимонов придумал совершенно иезуитский план. Он явился на университетскую автобазу и рассказал коллегам автомеханика Михайлова, что тот не желает ехать в отдельную квартиру. Коммунальная пролетарская общественность, для которой отдельная квартира была скорее мечтой, чем явью, была потрясена и возмущена. И, по-видимому, наш сосед был подвергнут столь суровому товарищескому остракизму, что буквально через неделю семья Михайловых уже паковала вещи. Супруга автомеханика, едва скарб был вынесен и погружен на машину, подогнанную с той же автобазы, вернулась на кухню, взяла банку с грибом и вышла, не прощаясь. Скорбный автомеханик, неся пустой аквариум, буркнул простите коли что не так и, никому не глядя в глаза, тоже исчез. Сявка же давно уж

беззаботно крутился во дворе, не ведая еще, что преподнесет ему в скором времени суровая судьба.

Не знаю, как у моих родителей, но у меня от того весеннего дня осталось чувство вины, будто мы выгнали Михайловых на улицу из их теплого гнезда. Вины и пустоты,— так сиротски глядел опустевший кухонный подоконник без банки с грибом, так мрачен оказался голый, с серой грязью на линолеуме, угол из-под соседского кухонного стола, на котором когда-то стоял аквариум с юркими яркими рыбками... Это чувство осиротелости не обмануло меня. Дело в том, что история эта закончилась трагически: автомеханик Михайлов повесился уже через месяц жизни в своей новой однокомнатной квартире. Мне неизвестна судьба его родных, знаю лишь, что много позже Сявку забрали в армию, из которой он вернулся старшим сержантом с полноценными усами. А бывшая некогда соседской средняя комната со временем, после смерти бабушки, превратилась в отцовский кабинет...

Как крутить любовь

Звонок застал меня в квартире родителей случайно: я давно жил отдельно холостым нищим богемцем и приехал съесть тарелку борща и тайком от отца перехватить у матери червонец. Трубку снял я сам. Женский голос сказал: ни за что не угадаешь, это Оля Агафонова. И после паузы: давай повидаемся, я сегодня дома одна. Я даже не успел удивиться, что она помнит меня, ведь прошло так много лет. Но, странное дело, я терпеть не могу, когда мне так бесцеремонно назначают свидания

дамы, лишая любовной инициативы. Выписывают, говоря циничным мужским языком. Я довольно грубо сказал, что рад, но сегодня занят. Положил трубку и тут же пожалел, что отказал ей. Хотя у меня действительно были на этот вечер другие планы.

Конечно же, я тоже сразу вспомнил ее. Последний раз мы виделись, когда ее семья уезжала из этого дома и из этого двора. Это было лет десять назад. Тогда, в свои шестнадцать, Оля Агафонова была уже вполне сложившейся женщиной. С тяжелым красивым неподвижным лицом, какие бывают у слишком сосредоточенных на своей вагине юных дам. С черными глазами вола, чуть навывкате, и с замечательной каштановой гривой. Но в те поздние школьные годы я редко сталкивался с ней. Так, мимоходом, встретившись во дворе, мог обронить какую-нибудь двусмысленность, намекая на наше общее отрочество, потому что, начиная с восьмого класса, учился в другой, специальной, школе, и у меня была уже другая компания и совсем другие интересы.

Теперь ее неожиданный звонок напомнил мне то время, когда нам было лет по двенадцать-тринадцать. Я выглянул из окна во двор. Там, внизу, на асфальте она когда-то прыгала через скакалку, а я вот так же подглядывал за ней и за стайкой соседских девчонок. Я не знал ее нового телефона. И позвонил в справочную. Агафоновых в Москве оказалось пруд пруди. Я знал ее полное имя и ее возраст, но ситуацию это не меняло: скорее всего телефон был зарегистрирован на ее отца-ботаника, профессора биологического факультета. Так что я бросил свои поиски, пожав плечами: что ж, жаль,

но — не сложилось. А между тем у нас с ней было одно важное незаконченное дело, и, оказалось, она тоже жалеет об этом. А именно, мы с ней так и не переспали.

Сейчас я вспомнил, когда мы познакомились. Мы учились классе в шестом, наверное: Агафоновы приехали в этот дом позже, чем мы, переселившись из коммуналки в четырнадцатизэтажном — этот дом напротив кинотеатра Прогресс так и назывался в университетском фольклоре — в отдельную квартиру. Они появились, когда наш двор уже зарос кустами сирени, прижились липы и тополя, несколько березок, были разбиты под окнами первого этажа цветники с золотыми шарами, а зимой каток на спортивной площадке, обнесенной стальной сеткой, почему-то бросили заливать. Что ж, катание на коньках было привычкой многих юных поколений, но наше, кажется, было едва ли не последним. И мы уже выросли из своих детских снегурок, которые приматывались веревкой прямо к валенкам, из фигурок, намертво прикрученных к подошвам высоких шнурованных ботинок, из гаг с выступающим передом, из высоких шикарных хоккейных канадок и даже из доставшихся по наследству от отцов с длинными лезвиями и острыми носами, опасных в спортивных схватках, беговых норвежек.

Никто не пришел нам на смену. Следующие генерации отчего-то отказались от радостей конькобежного спорта, когда на иллюминированном катке под звуки голоса какой-нибудь Далиды так ловко было приставать к девчонкам. Теперь в нашем детском дворе появились рядом с заброшенной спортплощадкой самостройные лавочки и стол для домино, за которым забивала козла

компания, состоявшая из обслуживающего персонала: слесарь Витя, живущий в гражданском браке с нашей техником-смотрителем Вале́й, отец Филиппка, — он тоже был с автобазы, дворник Вася. Интеллигентные же жильцы, тогда еще кандидаты наук, уже не выходили, напялив линялые пузырящиеся на коленях треники, на апрельские ленинские субботники, как было поначалу, когда горячим еще оставался энтузиазм новоселов. Короче, жизнь наладилась и устоялась, подросли девочки, мои ровесницы. А ведь когда-то они играли на асфальте в классы, прыгали через веревочку, модничали, нося все как одна одинаковые кофточки и притворно воротя от нас носы. Среди них была и самоуверенная, неумно болтливая, как бывают говорливы интеллигентные неумные женщины, красавица Таня Скокова, моя первая любовь, и ее фамилия гармонировала с семейным преданием, будто ее мать — внучатая племянница балерины Ксешинской. И плотненькая Люба Чернова, жившая на первом этаже, — вечером, уцепившись за решетку ее окна и подтянувшись, удобно было подглядывать, как она раздевается перед сном. И умница Лиза Каракозова, отличница с прямыми некрасивыми волосами и дурными зубами. Наконец, эта самая Оля Агафонова, которую создала природа не для любви, как Таню Скокову, но для страсти и похоти.

Она будто и сама это понимала. А потому не была романтична, ловко заманивала в свои сети, чаруя статью, формами, так странно развитыми у нее уже на тринадцатом году. В ней уже тогда была сонная нега восточной наложницы, ленивая поступь и равнодушная готовность себя дарить. Дарила она себя нам на пару с

Сергей Гвоздевым — он уж как-то попадался нам на футбольной полянке за домом. Нет, это, конечно, не был групповой секс, мы все были малолетними девственниками, мы просто хором лапали и щупали ее, что, кажется, доставляло ей большое удовольствие.

Этот самый Гвоздев был ничем не выдающимся парнишкой. Разве что тем, что и учителя, и одноклассники никак не могли не скаламбурить, произнося его фамилию. А учитель физики так вообще начинал каждый урок с того, что тыкал в него пальцем: назвался Гвоздевым, полезай в кузов. А поскольку Серега был завзятый троечник, уроков не учил, а гонял в футбол, то по физике у него выходила за четверть круглая двойка. Это был худой, невысокий, темненький, с рано проступившим кадыком и темными пучками над углами губ мальчишка на пару лет старше меня. Но одна отличительная особенность у него все-таки была: половое созревание, период вообще мало приятный, томительный и хлопотный, давалось ему как-то особенно мучительно. Он, что называется, был всегда тревожно озабочен, никакой футбол не помогал, к тому же он был не просто некрасив, но неопрятен и физически неприятен, с плохой кожей и всегда слюнявыми губами, и девочки сторонились его. Он пытался подкатываться к взрослым теткам, однажды подстерег в темном проходе за гаражами какую-то маляршу-строительницу в заляпанном ватнике, возвращавшуюся, видно, с работы, наставил на нее пугач и отчаянно крикнул раздевайся. Она обернулась и устало сказала: а вот я тебе сейчас уши-то наде-ру, щенок. И Серега позорно бежал.

Был и другой случай. За нашими домами проходила железнодорожная ветка, по которой некогда от цементного завода возили бетон на строительство здания МГУ на Воробьевых горах. Университет давно построили, но ветку не сняли, как не упразднили и сам заводик. И пару раз в сутки по ней проходили несколько вагонов, которые тянул электровоз. На этой ветке однажды была построена декорация дореволюционного вокзала, и именно здесь, под наблюдением всей окрестной пацанвы, бросалась под паровоз Анна Каренина в исполнении любимой нами за Альба-Региа, где она изображала советскую шпионку, татарского шарма красавицы Татьяны Самойловой.

Так вот, на пересечении окончания Мосфильмовской улицы и железнодорожных путей был шлагбаум, а при нем будка смотрительницы — с ситцевой занавеской на единственном окошке, с зеленым цветком в горшке на подоконнике. Вот в эту самую будку с одинокой ее обитательницей как-то и постучался Серега. Ему открыли. И спросили, разумеется, что ему надо. Пусти к себе, попросил Серега жалобно, я ученик, мне надо... Его, конечно, прогнали.

Оля Агафонова, строго говоря, была моя пассия — это определялось по понятному признаку кто с кем целовался. Но старшему товарищу по футбольной площадке я не мог отказать и лишить его невинных удовольствий, которых он так алкал. Так что, когда старшие Агафоновы были на работе, мы после уроков заваливались к ней на пару. К тому же они, биологи, часто укачивали и с ночевкой на опытную станцию Чашниково по Октябрьской железной дороге...

Впрочем, Гвоздев оказался довольно галантным кавалером. Прежде чем начать нещадно тискать и зажимать хозяйку, он читал стихи. Отчего-то в его репертуаре решительно преобладал Маяковский. Причем целиком он знал лишь довольно пространное и отнюдь не революционное и даже не любовное стихотворение, а именно Невероятное приключение, случившееся с автором на даче, так приблизительно называется этот опус. Серега становился в позу и начинал что-то в духе:

— А за горою той дыра, И в ту дыру, наверно,
Скрывалось солнце каждый раз Медленно, но верно...

По мере чтения он распалялся и переходил на ор. Он с истинным героизмом и вызовом кричал солнцу:

— Чем так без толку заходить, Ко мне на чай зашло бы...

Наконец, краснея и тужась, заканчивал победно, сильно жестикулируя, потея и крича:

— Светить всегда, светить везде, До дней последних донца, Светить, и никаких гвоздей — Вот лозунг мой и солнца!

Увы, кажется, Оля Агафонова была глуха к поэзии, а любила мороженое и шоколад. Поэтому, несмотря на весь его раж, не давала Гвоздеву себя поцеловать. Так, пощупать. Причем она не стеснялась меня, показывая глазами, как противно ей даже подумать о поцелуях с другим. В ней уже тогда было всегда изумлявшее меня и свойственное многим недалеким девушкам разграничение: то-то и то-то они могут позволить любому, но какой-то один способ любви они сохраняют лишь для избранника. И считают при этом, что хранили верность любимому, у которого, верно, волосы бы встали на го-

лове, узнай он, что за его спиной его избранница вытворяет с соперниками. Так вот, поцелуи в губы у Оли Агафоновой были зарезервированы за мной, а Гвоздеву было позволено лишь тыкаться слюнявым ртом ей в шею, шаря при этом у нее под юбкой дрожащими, жадными руками. Иногда — я слышал, не глухой — он прерывистым шепотом просил ее на ухо Оля, дай пое...ся, и тогда она отталкивала его и произносила вот еще, причем, трудно сказать, понимала ли она вообще в свои двенадцать с небольшим лет значение этого слова. Хотя сам звук, конечно же, был нам всем знаком — запретный, из срамного лексикона пьяных дядек-матерщинников. Взрослый же Гвоздев уже отлично понимал, что да как, его просвещали другие, еще более взрослые, футболисты, хваставшиеся половыми своими победами, и там, на футбольной площадке, часто можно было услышать загадочные, но интригующие фразы типа а что, Булкина, хоть и кривоногая, а хорошо подмаживает.

Однако я не ревновал: что бы ни стояло за гвоздевскими поползновениями, я был к Агафоновой сердечно равнодушен. Таня Скокова — вот был мой романтический идеал. И Маяковского я не любил — хотя бы потому, что нас принуждали его изучать в порядке внеклассного чтения. Что-то вроде я и Ленин на белой стене, скука смертная. Я больше склонялся к Шаганэ, ты моя, Шаганэ, и прилежно переписывал эти строки в тетрадку. Там содержались и другие хорошие стихи, скажем Когда фонарики качаются ночные, которые считались народными, причем столь любимыми, что автора, когда он в ленинградской пивной спьяну стал бахва-

литься, что эти строки написал он, сильно побили. Переписаны были также те незабвенные песни, словам которых меня обучили во вшивом отделении кожно-венерологической больницы, когда я, шестилетний, лечился от лишая. А именно Из-за пары распущенных кос и сопутствующие произведения, изобретенные русским каторжным народцем...

Был томительный и жаркий июньский день. Кажется, именно тогда я готовился к отправке в пионерский лагерь, отчего-то неведомо этому радуясь, предвкушая свободу от родительской опеки, ничего не зная еще о лагерной муштре. Вся мужского пола ребятня нашего двора, еще не развезенная по дачам и не распиханная по лагерям, толпилась вокруг стола для пинг-понга, а девочки играли в мяч на выбывание. И жизнь эта дивно отличалась от повседневной тем, что погода стояла летняя, летел тополиный пух, и не нужно было готовить уроки, потому что начались каникулы. Конечно же, появилась и Таня Скокова в милом сарафанчике, гордая, с индивидуальной скакалкой в руке. Мне она снисходительно кивнула, хотя мы с ней тоже уже целовались — на лавочке у подъезда, зимой на лестничной площадке последнего этажа перед дверью на чердак. И тогда мне, уязвленному, пришла мысль чем-нибудь ее сразить. Выкинуть какое-нибудь коленце, которое должно было бы ее бесповоротно уничтожить и окончательно покорить. Я повернулся к Оле Агафоновой и крикнул громко, по-хулигански:

— Олька, пошли е...ся. — И добавил уже шепотом:
— За гаражи.

Двор затих.

— Пошли, — спокойно согласилась Ольга. А Скокова равнодушно бросила через плечо вот дурак, отвернулась и принялась скакать.

Ольга Агафонова пошла впереди.

Для меня это ее равнодушное публичное согласие стало большой неожиданностью. В конце концов, выкрикнув свой революционный для всей дворовой ребятни лозунг, к конкретным действиям я был никак не готов. Но дело в том, что я был старше и слыл заводилой. Я понимал со страхом, что ответственность, которую я взял на себя, для меня непомерна. И вот вам картина, нелепая и ужасная. Впереди идет Ольга Агафонова, гордо неся свою тяжелую голову, за ней плетусь я. А за нами идет ватага заинтересованных зрителей, заинтригованная и взволнованная столь неожиданным происшествием. Всем было любопытно, куда мы направились и что же произойдет, потому что обещанное таинственное и запретное действие грозило случиться прямо здесь и сейчас.

Ольга направилась к железным гаражам, выстроившимся с краю двора. Я за ней. Толпа малолетних болельщиков — лет от шести до десяти примерно — за моей спиной неумолимо росла. Присоединялись все новые зрители. Эта масса дышала мне в затылок и, кажется, начинала роптать. Раздавались уже голоса в том смысле, что нечего тянуть и незачем идти так далеко. Ольга остановилась, обернулась ко мне и немо спросила: и что делать? Я было вознамерился шепнуть давай убежим, как произошло какое-то мгновенное изменение в воздухе, и двор потряс страшный удар, похожий на взрыв, и звук бьющегося стекла.

Оказалось, ушастый “Запорожец”, въезжая во двор, со всего маху угодил в фонарный столб. Удар был такой силы, что бетонный столб накренился, фонарь посыпался, и сам автомобиль странно сплющился и сжался, как маленькая гусеница. Из гаражей высыпали мужики и после немалых усилий достали из кабины и положили на брезент, который они расстелили на асфальте, бездыханное окровавленное тело. Правая нога была без ботинка, в одном сером носке с малиновыми ромбами на щиколотках. Вся ребятня, разумеется, повалила смотреть на столь редкую картинку. И мы с Ольгой, забыв про любовь, пошли смотреть на смерть.

Как сыграть принца

Многие подростки, преодолевающие возрастную застенчивость, очень хотят, чтобы их увидели. Мечты сбываются. Оказавшись на период ремонта квартиры, отбитой у бедных Михайловых, в пионерском лагере в составе четвертого отряда, я, кудрявый, получил в тамошней самодеятельности роль принца в пьесе Золушка довольно ловкого драматурга и хорошего, судя по его воспоминаниям, человека Евгения Шварца. Это был тот самый автор, что сочинил очень унылую сказку Два клена, на нее меня водила бабушка в замшелый тогда Театр юного зрителя, и трудно придумать театру более глупое название. Я не плакал над судьбой деревьев, но печалился от скуки, и эта экскурсия надолго отвратила меня от театральных зрелищ. К тому же я уже начал томиться не по условным сценическим красавицам, а по всем земным более или менее складным девочкам

старше себя — мои ровесницы, кроме разве что Скоковой и Ольги Агафоновой, были еще угловаты и плоски. Ко времени, когда пришло разучивать роль, я был бесповоротно влюблен в помощницу старшего пионервожатого, время от времени проводившую утренние линейки. В отличие от других вожатых она не была студенткой, но — девятиклассницей и пионеркой из первого отряда, а назначение свое получила за лукавую смекалку, таившуюся в ее шатеновой головке, за лучистую красоту темно-ореховых глаз, за миниатюрность и смуглую манкость. В те годы еще не знали английского слова эпил, но говорили сексапильность, образуя это выражение скорее всего от “пилиться”, одного из бесчисленных тогда в кругах передового юношества глагольных эвфемизмов для совокупляться. Только-только распустившаяся дивная семитская красота Гали Бебих, так ее звали, была именно сексапильна. В короткой синей юбочке, не скрывавшей и чудные ножки, и задорные коленки, всегда в белоснежной, с приколотым на ней пионерским значком, рубашечке, под которой притягательно торчала маленькая грудь, в задорно развевавшейся красной пионерской косыночке на смуглой шее, она безотказно действовала на воображение всего мужского контингента лагеря, вплоть до электромонтера.

Мне выдали уже на время репетиций золотую картонную корону, и я рассчитывал, что, быть может, в короне она меня наконец-то приметит, не может же она пропустить премьеру спектакля про настоящего принца, а принцем предстояло быть именно мне. Моя страсть была того градуса, что, будучи все-таки не робкого де-

сятка, я прятался, едва видел ее в конце песчаной дорожки, обложенной по сторонам половинками поставленных торчком красных кирпичей. Из кустов я подглядывал, как идет она от спальных корпусов к столовой, будто что-то про себя напевая, помахивая в такт чуть отставленной, полусогнутой в локте смуглой правой рукой. Незнакомое прежде возбуждение охватывало меня. Как-то я даже вырезал перочинным ножиком на коре стоявшей на краю территории одинокой моложавой березы заветное имя, будто загадал. Я знал, что по вечерам она гуляет со старшим пионервожатым за костровой поляной, иногда следил за ними вплоть до отбоя, вожатый вел себя прилично, говорил, она слушала, клоня головку. Я потом ворочался в кровати, ревниво мучаясь вопросом, насколько они, едва отзвучали последние звуки трубы, углубились в лес...

Режиссер Анатолий был очень худ, будто истощен, высок, сутул. Студента-филолога, его держали в лагере на неясной должности художественный руководитель скорее всего из дружбы, мой соперник, старший вожатый, был его однокурсник. Кадыкастый Анатолий декламировал по-французски, всегда пел Окуджаву и был в меня влюблен. Он вступил в сговор с толстой добродушной вожатой нашего отряда и на время послеобеденного тихого часа брал меня купаться на Красновидовское водохранилище, светившее сквозь придорожные деревья в километре от лагеря. Это было совершенно незаконно, купание пионеров было головной болью лагерного начальства, оно никак не хотело оказаться в тюрьме из-за какого-нибудь маленького оборота-утопленника. В жаркую погоду нас водили строем

лишь окунаться в огороженном лягушатнике, так что большего знака внимания, чем разрешение вольно плавать, режиссер оказать мне не мог. Впрочем, он, конечно, всегда плыл рядом, но плавал он неуклюже, а я — хорошо, потому что еще девяти лет был отдан отцом в соответствующую секцию при университетском бассейне — параллельно с секциями волейбола и фехтования. Поскольку я уже имел опыт мужеложеских за собой ухаживаний, то не давал себя обжимать, когда на берегу Анатолий принимался пылко вытирать меня махровым китайским полотенцем. Он был неловкий и неопытный ухажер и испуганно отступал, когда я выворачивался из-под его рук. Чтобы его не обидеть и не лишиться запретных дневных омовений, приходилось просить его спеть ту или иную песенку, которые, впрочем, оставляли меня равнодушным. Он обрадовано голосил про синий троллейбус, наивно ухватываясь за эту соломинку, радостно убеждаясь, что все-таки мне нравится.

Но — текуча и мятежна созревающая душа — у этого платонического любовного треугольника был вопреки законам геометрии четвертый угол.

В третьем отряде состоял один паренек по имени Юрик, годом меня старше. Его мать была примой Театра кукол, красавицей неземной, на нее смотреть можно было только зажмурившись. На фоне ее роскошной дамской зрелости блекла даже девичья прелесть помощницы старшего вожатого. Актриса, как оказалось, когда-то и в кино снималась — по Гайдару, в роли как раз юной пионервожатой, то есть как бы уже миновала эту стадию женской прелесть, возвысившись до совсем

иных таинственных и ужасных высот, о которых невозможно было думать без головокружения. Она записывала время от времени на радио детские сказки про зайчиков, а по субботам навещала сына на пару с довольно сумрачного вида господином, но никак не отцом Юрика. Тот ждал ее у ворот, сидя за рулем белой Волги с открытой водительской дверцей, свесив ногу в желтой сандали и нетерпеливо куря дорогие сигареты Друг, — Юрик потом подбирал окурки с золотым ободком, остававшиеся на месте парковки. Судя по их обилию, необходимость лагерных свиданий своей подруги с ее отпрыском его раздражала. Кто такой был этот богатый господин, не знал даже Юрик, наверное, режиссер, впрочем, у его красавицы-матери часто менялись поклонники, и специальностей их было не упомнить. Артистка привозила сыну гостинцы: конфеты, баранки и куски розового окорока, мы с ним сбегали в лес за той же костровой поляной, нарезали ветчину кубиками, нализывали на прутья, разводили огонь и делали шашлык. Много лет спустя я случайно встретил этого Юрика на каких-то московских порочных путях, он выглядел значительно старше своих двадцати, был измочален, его руки были исколоты, но это позже. Тогда же это был ухоженный загранично одетый смазливый мальчик и совсем не пионер.

Конечно, я дружил с Юриком прежде всего из-за его мамочки, при одном взгляде на которую рот наполнялся слюной, а колени дрожали. Сам же он мало меня интересовал — был капризен и не играл в футбол. Но, с другой стороны, и дружить-то мне здесь было не с кем: в нашем отряде как на подбор были одни сявки да фи-

липпки, филиппки да сявки, а у Юрика и фамилия оказалась на ский... Короче говоря, ко времени премьеры Золушки я жил в весьма возмущенном душевном поле, волны разных страстей омывали мою слабую душу. Заведомо недоступная, как ей и положено, мечта о неземной артистке, озвучивавшей зайчиков, совершенно естественно уживалась с плотской страстью к старшей пионерке Бебих, и эти безысходные желания лишь отчасти умиротворялись чувствами, что испытывал ко мне худой режиссер Анатолий, внимание которого, что, в общем-то, не странно, мне льстило.

Эта напряженная внутренняя жизнь никак не гармонировала, конечно, с интересами моего непосредственного окружения. Впрочем, я стоял на воротах за отряд, что было почетно, прыгал барсом, не жалея коленок. Проявил немалую отвагу в коллективном походе к душевым кабинкам для обслуживающего лагерь персонала, где в щелку в задней стенке можно было по очереди наблюдать, как моет наша повариха свои мясные тела. А вот назначение на роль принца уважения у моих соотрядников не вызвало. И моя корона, которой я дорожил, пробуждала в них скорее нехорошие чувства. Это можно назвать и завистью, ведь не могли же это быть чувства антимоноархические. Откуда они в дворовых мальчишках, воспитанных на фильмах про американских шпионов? Но завистью это не было — скажем мягко, это было раздражение. Чтобы примириться с ними, моими соседями и по столовой, и по линейкам, и по спальне, я рассказывал им на ночь страшные, как водится, сказки — так делала, помнится, воспитательница детского сада, в котором я получал некогда первые

уроки общинного быта. Я повествовал с продолжением про какой-то автономно летающий страшный палец, перст, так сказать, возмездия, и прочую, невесть где подслушанную, галиматью. Это был мой, еще не до конца, конечно, осознанный, долг интеллигента, призванного время от времени творчески обслуживать благодарные народные массы, прислушивавшиеся к моему голосу в ночной пионерской тьме.

Между тем нашлась и Золушка. Ах, если бы на эту роль определили помощницу старшего пионервожатого Галю Бебих! А феей оказалась бы неземная мать Юрика. Но, увы, такой расклад был несбыточен, как любой сладкий сон. В партнерши мне — уж не из ревности ли — режиссер-ухажер назначил зачуханную девчущку из нашего же отряда по имени Тамара, замухрышистую, но бойкую, к тому же уже сделавшую себе в наших узких кругах громкое имя тем, что умела есть живых дождевых червей. Черви сами в больших количествах выползали на асфальт после дождичка, и болельщики подбирали пожирнее. Танька широко, картинно, как истинная прима, разевала рот, медленно клала червяка на язык, закрывала рот и принималась жевать. Потом делала глотательное движение и разевала рот обратно, чтобы зрители убедились, что там пусто, срывала аплодисменты. Короче, она была в своем роде артисткой, умела овладеть вниманием публики, это, должно быть, и повлияло на выбор режиссера. Вот только по внешним данным она подходила лишь для экспозиции, когда Золушке приходилось колоть дрова, топить печку и заниматься постирушкой. Во второй части она была неубедительна, и покорить принца ей никак не удавалось. К

тому же возникли сложности с башмачком, потому что никак не подходили ни китайские кеды, ни разношенные сандалии, в которых тогда щеголяли пионерки, так что туфельку пришлось одолжить у толстушки вожатой, и она оказалась на пару размеров больше Томкиной ноги. Режиссер распорядился натолкать в туфлю ваты, и Тамара в роли Золушки, собиравшейся с помощью волшебной феи на бал, вышла уморительна: худая, нескладная, в туфлях не по размеру. Она оказалась так неуклюжа, что не могла сделать на балу и двух па, чтоб не сбиться с ритма: как видно, талант к поеданию червей не всегда идет об руку с танцевальными способностями. Запоздало режиссер решил искать замену, но репетиции шли без перерыва, даже в тихий, купальный для нас с ним час, время поджимало, и премьера близилась.

Я старался вовсю, выходил на авансцену, когда этого еще не требовалось, задорно кричал свои реплики, корону нося по-свойски, принимал позы. Анатолий любовался мною, тая любовь, но подчас, когда я совсем уж невозможно пережимал и зарывался, делал-таки замечания — я полагал, для отвода глаз и конспирации. Ближе к премьере, когда я стоял на сцене в своей короне и наблюдал, скучая, как Анатолий в сотый раз показывает Золушке ее путь из поломоек в принцессы, случилось невероятное. На сцену вытащили широченный медный то ли котел, то ли таз, позаимствованный в столовой, который, как выяснилось, должен был изображать карету, сделанную, сами понимаете, из тыквы. Пока все пялились на это средство волшебных перемещений, послышался голос Анатолия: Галочка, тебе будет

удобно, как ты думаешь? Ответом был такой знакомый мне по командам на линейке странного смешанного тембра, грудной, со звенящей нотой, голосок: не волнуйтесь, Толя... Конечно же, кто ж еще мог в нашем лагере сыграть роль феи, волшебницы, рассыпающей вокруг себя одни прелестные улыбки и как бы обещающая подарки? Мои кудри мигом взмокли под моей короной, которая разом показалась неудобной и тяжеловатой.

Машинерия была такова: днище посуды было натерто маслом, и она прекрасно скользила по неровному полу нашей самодеятельной сцены. Тащил его, спрятавшись за кулисы, крупный пионер, причем так старательно и резво, что Гале Бебих в первый раз пришлось мигом присесть и ухватиться за края, чтобы не полететь вверх тормашками. Впрочем, после нескольких упражнений оптимальная скорость движения была установлена, и уже готовая ударить по чурбану топором Тамара вдруг слышала за спиной характерный стук и скрежет, с каким всегда и появляются перед бедными девушками добрые феи в медном тазу. В своей роли Галя Бебих была невозможно хороша, поскольку ей очень к лицу пришлось почти прозрачное одеяние из крашеной марли, под которой можно было разглядеть белые трусики. Я бы репетировал и репетировал, тем более что мог, не отвлекаясь, подробно наблюдать свою любимую из-за кулис — она действовала лишь в первом акте, а я появлялся в жизни Золушки только во втором. К тому же, когда мы оказались членами одной труппы, Галя Бебих стала обворожительно улыбаться и мне, и то, что происходило со мной после того, как я ловил ее улыбку, нынче я назвал бы прозаически — по-

вышением кровяного давления. Беда была в том, что точно такой улыбкой она одаривала и своего начальника, и режиссера Анатолия, и даже пионера, таскавшего ее в тазу по сцене.

Я плохо помню сам суматошный день премьеры. Была толкотня и бестолковщина, режиссер Анатолий метался и стонал, но улучил-таки момент и перед моим выходом ухитрился чмокнуть меня в щеку, что вовсе не прибавило мне настроения. Фея удалась на славу, зал рукоплескал ее обворожительной улыбке, Золушку подбадривали, и, будем справедливы, Томка держалась молодцом. Чего нельзя было сказать обо мне. Повидимому, актерское тщеславие решительно возоблагодало во мне над чистым вдохновением, к тому же я как мог старался произвести впечатление. Выход был удачен, раздались даже хлопки, потом наступила тишина. Я и сейчас помню весьма неприятное чувство, когда ты одиноко смотришь со сцены в зал. Отдельных лиц не разглядеть, но эта дышащая и пляшущая на тебя толпа только и ждет, кажется, когда ты оскандалишься. Разумеется, так хорошо отрепетированные фразы стали путаться у меня в голове, и Анатолию пришлось из первого ряда, шипя, подавать мне реплики. Окончательно я оконфузился, когда вдруг встретился глазами с Галей Бебих, которая уже переоделась и оказалась сидящей рядом с Анатолием. Тут я споткнулся, причем не фигурально, но самым натуральным образом, чуть не упал, и корона покатила с моей головы. И молчавший до того зал вдруг взорвался шиканьем и свистом. Особенно старались члены моей футбольной команды, мигом

забыв и мои сказки, и мои подвиги на поприще разглядывания в щель статей голой поварихи.

Перед сном в палате мне сделали темную. Накрыв одеялом, мои товарищи по пионерским каникулам били меня старательно, с толком. Как если бы мачеха, не зная еще ничего об ее светлом будущем, охаживала Золушку за непозволительные амбиции. Больно не было, поскольку избиение носило ритуальный характер. Было чувство несправедливости, и был, что самое неприятное, страх. Каким образом об этом стало известно наутро — не знаю, но после завтрака меня вызвали к старшему пионервожатому, он о чем-то спрашивал меня с отвратительно сочувственной интонацией, но я, конечно, все отрицал и, вопреки очевидности, поскольку синяки все-таки были, ничего не рассказал и не проговорился. Я уже тогда знал, что доносить на товарищей дурно, потому что тебя назовут ябедой, а что может быть дороже в лагере, чем незапятнанная репутация.

Здесь была такая традиция: после отбоя совершался обход. Иногда его осуществляли старший пионервожатый с вожатой отряда на пару, иногда он приходил со свитой, в которой подчас бывала и Галя Бебих. И вот через два дня после моей неудачной премьеры, обернувшейся боевым крещением, состоялся такой обход, после чего мои товарищи заснули мирным сном. Сказок я им больше, понятно, не рассказывал, да они от меня их и не ждали теперь. Палата спала, я лежал на спине, смотрел в открытое окно на далекие силуэты темных деревьев, на черное небо, чуть подсвеченное луной откуда-то сбоку, и мечтал о том времени, когда меня отсюда, наконец, заберут. Под полом скреблись мыши, в

небе мерцали смутные звезды. Я почувствовал ее присутствие, ведь услышать ее шагов никак не мог — она передвигалась бесшумно. Я закрыл глаза и притворился спящим. Она подошла к моей кровати, и в тишине я расслышал ее дыхание. Она постояла молча несколько секунд, потом наклонилась и поцеловала меня. И так же неслышно вышла. Я открыл глаза. Нет, я не спал, и мне это не приснилось: фея поцеловала меня наяву.

Как жизни не жалеть

Быть может, родители чувствовали себя виновато, когда забирали меня из лагеря. Я стал худ, обветрен, руки в цыпках, коленки ободраны, в облике моем проступило, наверное, нечто отчетливо шпанское, и они поглядывали на меня с жалостью и долей опаски. Конечно, родители могли бы догадаться, что со мной произошли — помимо внешнего опрощения и обретения вполне дворовой внешности — и кое-какие внутренние изменения, но откуда им было знать — какие именно. Что ж, побывав в пионерах, я поднабрался кое-какой мудрости и сноровки, как то: научился плевать на два с лишним метра в длину, узнал, как выглядят со стороны развалистые груди поварихи, поросшие будто прозрачным мхом, мог теперь, сжав зубы и затаив обиду, перенести унижение, а также познал разнообразную любовь, пусть и платоническую. И зря моя мать смеялась над моим вкусом, показывая бабушке конверт, который уже через несколько дней после моего возвращения под отремонтированный отчий кров обнаружился в почтовом ящике. На обратной его стороне наискось бы-

ло написано жду ответа, как соловей лета, — моя бывшая партнерша Томка, даром что Золушка, была с манерами. Но я не стал оправдываться и объяснять, что любовь у меня была в другом месте, а эта корреспондентка — всего лишь мой товарищ по искусству сцены.

Было решено в целях окультуривания ребенка обратно, возвращения, так сказать, в интеллигентское состояние, отвезти меня на Рижское взморье: кафе с ароматным кофе, ренессансный костел с высокими темными витражами, с полом из каменных плит и резной деревянной беседочкой слева, высоко прилепленной к колонне, винтовая лестница к ней, ряды почти школьных парт, а там то камерные, то духовые концерты на открытой сцене в городском саду, от звуков которых томилу душу, и необходимость как-нибудь поехать в Ригу, чтобы в Домском соборе послушать его орган, — интеллигентская повинность.

Рассчитали так: дети с матерью едут вперед, отец дочитывает курс и принимает экзамены, потом нас догоняет. Прибыли на поезде с занавесками, на них были изображены синие якоря и парус. Мать с сестрицей и со мной поселилась в Яун-Дубултах в пристойной комнате с комодом и двумя кроватями на втором этаже ветхого деревянного дома — кухня, сортир и умывальник были на первом. Я спал на раскладушке, которую нам принес необщительный хозяин-латыш, делавший вид, что не понимает по-русски, тогда как хозяйка, сама наполовину русская, из Даугавпилса, напротив, была приветлива, а по-русски говорила с милым акцентом. Пока дамы вечерами болтали на кухне, мы, уже уложенные в постель, были предоставлены самим себе. Я заползал под

кровать сестрицы, страшно рычал, утробно вещал. Катка пугалась, но молчала, лишь иногда, как мышь, тихо попискивала.

С хозяйкой мать сошлась настолько, что скоро стало известно: хозяйкин муж после войны сидел в сибирском лагере, но не совсем слишком, говорила латышка, пять лет. Имелось в виду, наверное, что многие сидели и дольше, а кто-то и вовсе не увидел больше своей родной маленькой земли с озерами и соснами в прибрежных дюнах. По субботам хозяин напивался, сидя на первом этаже на кухне на своем табурете, накрытом кокетливо вышитой подушечкой-думкой, курил — по лагерной привычке, наверное,— папиросы Беломорканал. Набравшись, он принимался громко разговаривать сам с собой по-латышски, перемежая длинные спичи русским матом, который извергал почти без акцента, и стучал кулаком по столу. Без перевода было понятно, о чем он, — о том, какие русские свиньи. И, кажется, грозился дожить до времени, когда немцы русских из Латвии выкинут.

Утром хозяйка приносила извинения. При Сталине он молчал бы, бормотала мать беззлобно, но и без особого сочувствия — впрочем, за такие речи могли и при Хрущеве по головке не погладить. Тем более что в те времена где-то в прибалтийских лесах еще гуляли лесные братья, и русские курортники опасались ходить за грибами. Но скорее всего это были лишь легенды, питавшиеся забывшимися с послевоенных времен страхами. К тому же в конце концов хозяин имел в виду собирательных русских, а к нам здесь относились вполне прилично, разрешали пользоваться кухней и угощали

вареньем из кислых желтых слив, что созревали и падали в траву в маленьком садике за домом.

Отец прибыл-таки, когда на него уж не было надежды. Без сюрпризов ему было трудно жить семейной жизнью, потому с собою он привез своего приятеля-физика, за которого, как с раздражением говорила мать, вспоминая, должно быть, рыжую аспирантку Лилю, опять написал диссертацию. Отец возражал, что Спартак очень способный, но тугодум. Был у матери и еще один повод для недовольства — почти сорокалетний Спартак был хронический холостяк и жил с нежно обожавшей его и обожаемой им матерью в том самом крошечном коммунальном доме на Манежной площади, напротив библиотеки, что и мой случайный дружок по деревне Андреевка — вот как тесен этот мир.

Спартак был тучен, косолап, смешлив, беззлобен, потлив. Он поселился неподалеку от нас, сняв себе довольно милую светлую, совсем девическую, комнатку с прозрачными тюлевыми занавесками, с окошками, смотревшими в жасминовый сад. И все бы ничего, его, безобидного, терпели бы, кормили бы завтраками и ужинами, мать шутила бы над его никак не идущим смиренному еврею героическим римским именем, отец беспрепятственно играл бы с ним в шахматы на его территории, но одно качество Спартака приводило мать почти в бешенство — тот был отпетый, хоть и простодушный, женолюб и волокита.

Это свойство в нем пробуждалось всякий раз, когда в зоне видимости оказывалось одинокое лицо дамского пола. Иногда мы всей компанией ходили завтракать в очаровательное маленькое кафе с чистыми, народной

выделки, рушниками на столиках, стоявшее на пути на пляж. И, пока мы глотали здешние вкуснейшие взбитые сливки, Спартак не спускал глаз с официантки-латышки. Не стесняясь нашим присутствием, он пытался брать ее за руку, потя и бормоча косноязычные комплименты. Потом мать выговаривала отцу, что на это просто противно смотреть, отец только улыбался и утверждал, что Спартак всего лишь безобидный оптимист и жизнелюб и это он так шутит. А у нее, у нашей матушки, воспаленное воображение. Это у меня-то?! — восклицала мать в гневе.

Но латышские официантки, как и продавщицы и кассирши, на контакт не шли, отказываясь понимать комплименты Спартака и принимать его ухаживания, так что единственным его шансом оставались русские курортницы, и уже на третий день он продемонстрировал нам какую-то бывшую танцовщицу народных танцев с перекаченными мышцами ног — из Нижнего Новгорода, дамочку далеко за сорок и довольно жалкую, провинциальную, с редкими волосиками на голове, как-то слишком заметно одинокую. Пока это было все, чем одарило его побережье, поскольку на данном чинном отрезке буржуазного курорта отдыхали преимущественно семейные пары, а ночная разгульная жизнь шла в другом месте взморья, где-нибудь в Майори или Дзинтари. То есть Спартак попал за компанию совсем не туда. Но и платного разврата он не искал, хотя бы потому, что был робок и беден, а также страдал фобиями: он как-то при мне повествовал отцу, что всегда надевает два презерватива, один на другой, на что отец откликнулся, сбивая его с темы и кося на меня глазом, что,

мол, в воланы для бадминтона надо бы класть для веса сосновую шишечку. К тому же, что вовсе не странно для ловеласа в летах, страдающего одышкой, Спартак в то лето на самом деле алкал не случайного разгула, но решил жениться: собственно, с этим напутствием и отправила его мама одного на курорт, снабдив некоей долей суммы, скопленной в семье на черный день, то есть на ее собственные похороны, и мог ли выпасть в жизни этой маленькой семьи день чернее. Его мама, как Спартак рассказывал за завтраком, каждый день обещала скоро умереть, чем повергала сына в уныние и страх. Говорила, хотя это ей и будет очень тяжело и она этого не переживет, но жениться ему необходимо, потому кто будет следить за бедным мальчиком, однако, как любая женщина, тут же выдвигала и встречный мотив, в том духе, что, может быть, умирать она еще подумает и успеет увидеть внука, маленького такого Спартака.

Была и еще одна загвоздка. При всем том, что Спартак убыл из материнского дома с брачными напутствиями, ему было велено быть постоянно настороже, потому что мама знает нынешних женщин, и всегда найдется желающая бедного мальчика окрутить. При том, что бедный мальчик занимался теоретической физикой, этот логический лабиринт повергал его в растерянность: куда ни поверни, везде маячил тупик и любой вариант выходил клином. Моя легкомысленная мать говорила, посмеиваясь, что просто-напросто твоя мама, Патрик, так его звали по-домашнему, вовсе не хочет тебя женить. И что добропорядочные женихи его происхождения и его лет подбирают себе невест из далеких

родственниц, живет же где-нибудь в Херсоне или Днепропетровске — семья имела корни на юге — какая-нибудь кузина Каля, старая дева, которая с удовольствием составит ему партию. Эти шутки Спартаку не нравились, он очень не любил, когда ему напоминали о его происхождении из бывшей черты оседлости. К тому же это было бестактно, потому что, как было известно матери, многие члены его семьи во время войны погибли в гетто. Так что Спартак краснел, потел, грустнел, возражал, что родился вовсе не в Херсоне, а в Марьиной Роще. А мой отец смотрел на жену укоризненно, хотя понимал, конечно, почему она Спартака дразнит.

Вторым заходом была довольно смазливая, хоть и неуместно спортивная, миниатюрная молодая женщина — дочь, как выяснилось, провинциального актера-трагика, из Рыбинска, кажется. Поскольку трагик был народным, то играл в своем театре кроме Отелло еще и роль Ленина, а на городских праздниках носил во главе колонны трудящихся красное знамя: разумеется, дочь трагика таких-то голубых кровей не могла не быть самонадеянна и высокомерна и к Спартаку относилась свысока. Моя мать, узнав от самой новой пассии о ее происхождении из семьи исполнителя роли казанского стряпчего, декламировала, потешаясь и показывая на плешь на голове Спартака, когда был мальчик маленький с кудрявой головой... Но недолго ей было смеяться: пусть не с первого, но со второго взгляда дочь провинциального Штрауха — и это было неотвратимо — влюбилась в моего папашу.

Возникла неловкость и заморочка, как говорят нынче, и Спартаку было опять отказано от стола. Мать

стала чаще вспоминать Лилию, отец выглядел смущенно и на пляж один не ходил, только с детьми, шахматная доска была заброшена, но дело разрешилось в течение двух-трех дней: рыбинская прелестница Спартаку решительно отказала и сгинула куда-то по более перспективному направлению. Надо отдать Спартаку должное, он совсем не кручинился, не без удовольствия, кажется, сложил с себя полномочия жениха и опять за обе щеки уплетал взбитые сливки за семейными завтраками, на которые вновь был допущен ввиду обнаружившихся в нем зачатков нравственности и умеренности.

Я тоже не терял времени даром и в очередной раз влюбился.

На той же улице, на которой Спартак снимал комнату, но ближе к дюнам, стояла роскошная по тем временам дача, принадлежавшая какому-то рижскому сановнику. Там, за оградой, стояла на гравийной площадке бежевая Волга с оленем на капоте, совсем такая, на какой подъезжала к воротам пионерского лагеря небесная кукольная артистка, там цвели розы и зрели большие красные яблоки — может быть, штрифель, а может, апорт, там был теннисный корт белого песка, там была тенистая беседка с резными балясинами — в ней громко пили чай с нездешним бальзамом, там через открытое окно проигрыватель Юбилейный оглашал темнеющий сад звуками чужеземного фокстрота, короче, там шла невообразимого шика жизнь советской имперской буржуазии, и посреди этой роскоши жила и цвела плотненькая, с ножками-бутылочками, сановная дочка в немыслимой красоты панаме с цветком, которую она носила с шиком, то есть набекрень. Всего этого

было вполне достаточно для крупного курортного чувства, тем более что старше она меня была всего лишь года на два-три. Впервые, впрочем, я увидел ее не из-за забора, а на пляже и проводил, незамеченный, до ворот ее соловьиного сада, вечером же отправился в городской сад, сидел на скамейке в кустах, слушал звуки заморского Гершвина, доносившиеся из-за ограды открытой эстрады, декламировал тихим шепотом многим ты садилась на колени и немножко плакал от переизбытка невыносимого горького сладкого счастья новой любви и юной жизни.

Меж тем Спартаку, наконец, повезло. Все дело в том, что несмотря на свое неспортивное сложение он моря не боялся и вполне прилично плавал, пусть и пособачьи. Плаванье было, конечно, каботажным, но он — не как мой отец, не умевший плавать вовсе и плескавшийся у берега, зайдя лишь по колено,— входил в воду и упорно шел по мелководью, и его поросшая черным волосом спина только в полукилометре от берега скрывалась из виду: это означало, что, дойдя-таки до относительного глубоководья, Спартак пускался вплавь. И однажды случилось чудо: мы все были на берегу, я с матерью и сестрой — мой отец испытывал к азартным играм почти такую же брезгливость, как к курению, — пытались, лежа на одеяле, играть в пьяницу, ловя перемазанные в песке карты, которые то и дело подхватывал ветер, когда нам открылась картина. Вдалеке от берега постепенно обрисовалась, плывя в полдневном мареве, фигура Спартака, который нес на руках кого-то, будто ребенка. Постепенно обозначались безжизненно свешивавшиеся тонкие ноги, а голова загадочного су-

щества лежала на плече спасителя. Мы наблюдали за-
вороженно, как тот шел по воде, медленно приближа-
ясь. У него были стать и походка усталого героя. Нако-
нец, он ступил на берег и положил бездыханную добы-
чу на песок. Мы скучились. Это была отнюдь не малого
размера немолодая женщина с темными от влаги раз-
метавшимися волосами и в очень открытом тесном ку-
пальнике, из-под которого выступали складки. Спартак,
чуть робея, делал ей искусственное дыхание, и только
теперь я увидел, какие у него маленькие руки. Наконец,
спасенная женщина открыла глаза и произнесла с хри-
потцой хрестоматийное где я...

Позже моя мать утверждала, что вовремя начать
тонуть — это самый распространенный дамский прием
завлечения, но говорила все-таки в отсутствии Спартака.
Впрочем, это давалось ей тем более легко, что его при-
сутствия после этого случая не наблюдалось вовсе. К
нему, как и ко мне, пришла любовь. Разница была лишь
в том, что он был счастлив в этом своем новом чувстве,
счастлив настолько, что, выходя на пляж часам к двена-
дцати вместе с обретенным наконец близким существ-
вом, не шел к нам, а, завидев и придерживая пассиву за
обнаженную пышную талию, лишь махал рукой издале-
ка. Все-таки стало известно, что дама — из Пензы, бух-
галтер, разведена, один ребенок, но ему скоро в ар-
мию. Получив эти неутешительные сведения, отец с ма-
терью, как сговорившись, временно перестали о Спар-
таке вспоминать...

Грустя и томясь перед дачной стеной ее сада, на-
блюдая что ни день, как выходит она из ворот в своей
лихой панаме и идет к морю, я вынашивал план. Пото-

му что усвоил урок, который преподавал мне Спартак: только истинному герою в наши дни может улыбнуться удача. Другого пути, как рискнуть жизнью, у меня не оставалось: я должен был спасти Ирму — этим именем, я слышал из-за забора, родные звали мою избранницу к завтраку. Станным образом, мне не приходило в голову, что удобного случая может и не представиться и тонуть она не будет вовсе, но человек, решившийся на последний подвиг, не должен предаваться столь убогой рефлексии. Не останавливало меня и то соображение, что ее, спасенную, я смогу на руки и не поднять. Не останавливало потому, что, приняв решение, я почувствовал прилив сил и ловкости. И в душе моей появились та смелая легкость и бесшабашность, с какой только человек, уверенный в победе, может идти в бой... Стоит ли говорить, что вышло все вовсе не так красиво, как предполагалось? Нет, скандала не было, но какой же прозой все обернулось! Я подстерег момент, когда она поплыла, — это было недалеко от берега, там нам обоим было воды по пояс, — и решился. Я вошел в воду, дрожа от страха и азарта, предвкушая, как она благодарно обнимет меня за шею, и подступил к ней. Я уже приготовился взять ее на руки, глотнул воздуха и изловчился, как она встала на ноги и удивленно, на плохом русском спросила тебе что хотеть, малчик.

Странно устроен человек: мне совершенно не понравилось, как она это сказала. Во-первых, как-то не по-русски. Но главное, я не то чтобы почувствовал себя отвергнутым, а испытал разочарование. Как всякий фантазер, достаточно долго живший одной мечтой, я был уязвлен будничной и участливой интонацией, с какой

она обратилась ко мне. К тому же вблизи, вся в воде, моргавшая, веснушчатая, что я не мог разглядеть прежде под полями ее панамы, она не показалась мне хороша. Дальше было еще хуже: тебе плохо, малчик? — с безучастным любопытством спросила она. Спасибо, пробормотал я и с постыдной поспешностью ретировался. Мне было очень стыдно и обидно за себя, я почти бежал по мелководью. Вот если бы она сейчас стала тонуть, спасать ее я бы не стал. Или стал бы — из чувства долга. Как любой на моем месте. Когда я обернулся, она уже плыла прочь от берега, скорее всего забыв обо мне...

Спартак заявился к нам ранним утром. Бросилось в глаза, что он был не в спортивных штанах и майке, но в костюме. На крыльце стоял чемодан. Нет, он не пришел к нам жить — он пришел прощаться, хотя билеты у нас были на один день, уезжать мы должны были вместе и только через неделю. Заспанные родители решили, что ему отказали от комнаты, но, когда он принялся неуверенно и неуверенно врать, что, мол, мама неважно себя чувствует, а он сам, мол, соскучился по работе и что ему нужно быть в Москве, стало ясно, что просто-напросто он позорно бежит с поля боя. По причине раннего времени моя мать удержалась от комментариев, однако предложила ему кофе. Спартак решительно отказался, хотя этого никогда с ним не случалось, коли речь заходила об угощении. Он выглядел озабоченным и даже напуганным, сказал, что очень спешит. Отец предложил проводить его, но от этого он отказался тоже, пробормотав что-то уж вовсе несусветное. Позже, когда мы видели его пассию, вплоть до самого нашего отъезда

одиноко кружившую по пляжу и будто искавшую своего спасителя, стало ясно, что просто-напросто в то утро он боялся погони. Торопливо заверив, что, мол, будет ждать нас в Москве, что было тоже ни к селу ни к городу, — зачем ему надо было нас ждать? — он попятился, подхватил свою ношу и заспешил прочь.

Я и сейчас вижу его фигуру. Он уходил — косолапый, в вислом пиджаке, со старомодным потертым чемоданом, тяжело дыша от ноши и торопливости, скособочившись влево, уходил, и видны были его шея и затылок борца — столь неуместные при его простодушном и робком характере, он то и дело вытирал их носовым платком, зажатым в свободной правой руке. Нет, его было уже не догнать... Он уходит. Он исчезает вдали. И я грущу о том, что он ушел тогда с тем, чтобы больше никогда не появиться на страницах этой книжки.

Как грибы сушить

Посреди деревни цвел широкий пахучий пруд с карасями и пиявками. Возле него, на некотором расстоянии от берега, стоял столетний дуб в дуплах и морщинах, единственный в селе, хотя в округе шумели дубовые рощи. Дуб помнил, как некогда под его сенью крутили любовь еще бабушки и прабабушки нынешней зеленой молодежи. Это было своего рода священное дерево, молодожены приходили к нему после регистрации — венчания тогда еще не были в моде, а игрались комсомольские свадьбы. Здесь же был и колодец с подгнившим срубом. Из колодца для повседневных нужд

воду не брали, только для ритуальных омовений на Ивана Купала.

Под дубом летними вечерами устраивались танцы под патефон. Верховодила товарками не самая красивая на деревне, но самая бойкая девка по имени Наташка пятнадцати лет от роду, с ровным носиком, веснушчатая, со всегда приоткрытым влажным ротиком, будто всякую минуту готова была рассмеяться. Я, тринадцатилетний, тоже танцевал. Наташка меня, городского, заметила, ее внимание, конечно же, мне льстило. В ходу тогда был репертуар, строившийся вокруг шлягера А у нас во дворе есть девчонка одна. Для меня эти слова звучали актуально, истинная лирика пронизывала строки этой песни. Как у Есенина, которого, впрочем, ценю и поныне, но теперь у меня с ним другой репертуар, тогда же мне особенно близкими, я уже говорил, казались такие строки — до слез восторга перед высоким: многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня...

Деревня называлась волшебной, язычески, будто некогда здесь обитали волхвы: Велигож. Она стояла на правом берегу Оки. Река текла слева направо под крутой горой, за санаторием, там же, внизу, была и одноименная пристань. Не знаю, что заставило моего отца снять на это лето избу именно здесь, на границе Тульской области, за полторы сотни верст от столицы, — быть может, его привлекли поленовские виды. С собой, помнится, было привезено очень много скарба, едва поместившегося в кузов грузовика, нанятого на все той же университетской автобазе. И доставлены были, ра-

зумеется, все домочадцы, включая уже очень постаревшую бабушку.

Женщин, естественно, отнюдь не радовал этот выбор, но в семье еще теплились остатки патриархата. Мать предпочла бы снять на лето что-нибудь поближе к городу, поскольку выбраться из Велигожа в Москву было героическим предприятием: часа два на катере до Серпухова, там от пристани автобусом до железнодорожной станции, потом два с половиной часа электричкой. Но отец утверждал, что если ближе, то там не будет Оки, грибов и настоящих сенокосов: бог его знает отчего, но он любил, не умея этого делать, косить, задира лезвия, пятку вел неровно, ручку держал неверно. Однако любил, что твой граф Толстой. Помню, крестьяне на время перекура ненадолго одалживали ему инструмент, предупреждая лишь, чтобы коса не нашла камень, и это было отнюдь не фигурально. Они устало щурились, глядя на упражнения барина, папаша же детски радовался, махая в середину стеблей, высоко от корня, портя покос. О его подвигах на этой стезе ничего больше не скажу, но что правда, то правда — грибов в то лето было много. Очень много. Иногда набредешь на широкую поляну среди дубов, а белые стоят тут и там, и от этого обилия пропадал грибной азарт.

Деревенский наш день строился так. По утрам вся семья пила парное молоко. Мать тут же бралась за готовку, бабушка у светлого окошка принималась за письма Тютчева — настольная книга, — сестра егозила на улице с деревенской ребятней, но строго в поле материнского зрения, мы с отцом, запасшись бутербродами и термосом с чаем, отправлялись в леса. Сразу за

деревней начинались роскошные светлые дубравы: дубы стояли широко, а между ними почти не было подлеска. Это было именно что собирание грибов, — так собирают как попало разбросанные вещи. Но грибы мы брали лишь на возвратном пути, чтобы не идти в поход, как говаривал батюшка, нагруженными.

Вовсе не странно, что этот термин из военной лексики, поход, прочно вошел в мирный речевой обиход милитаризованного народа, воспитывавшегося на книжках красноармейца Гайдара. Как не странно и то, что в послевоенной стране, где была катастрофическая нехватка жилья и жизнь многих людей из-за скученности превращалась в повседневный скандал и кошмар, такой популярностью пользовался туризм: что бы под этим словом не понимать, но это всегда был рывок к свободе. Это были годы настоящей мании туризма, который стал как бы самостоятельной формой культуры: с песенным фольклором и ритуалами. Туристический поход становился легальной формой побега, не преследуемой властью партизанщиной — побега от невыносимого коммунального жилья и идеологии, побега на волю, в леса и на горы... Отцовские походы тоже были этого рода, пусть и не принимали радикальных форм: палатку отец все-таки не разбивал, а к ужину возвращался к семье под крышу. Хотя, подозреваю, не без удовольствия заночевал бы у костра, а не в одной горнице с тещей, которую определил за печку.

Мы уходили далеко, кружили, спускались в распадки, взбирались на косогоры, выходили на яркие поляны, потом опять погружались в тень и все же брали те боровики, перед мощной красотой которых было уж

никак не устоять. После полудня мы делали привал, ели свои бутерброды с чаем, а потом опять шли неутомимо. Во время этих дальних прогулок мы никогда ни о чем не говорили, обмениваясь лишь самыми необходимыми репликами: видимо, отцу, и в быту человеку неразговорчивому, нужна была прежде иного именно тишина. По его лицу, даже по движениям плеч, было видно, что он сосредоточен. Быть может, в его крупной голове, под шапкой перепутанных дремучих волос, беспрестанно кипела математическая каша, выскакивали формулы и образовывались неравенства. Но скорее он все-таки отдыхал, а этот вид сосредоточенного думанья был просто привычным выражением его лица, если только лицо это не озарялось несколько туманной рассеянной улыбкой, которая кружила головы женщинам. Впрочем, те, кто склонен к размышлениям, знают, что на самом деле одно другому не мешает: можно одновременно и думать, и отдыхать.

Поворачивал назад, к дому, отец не без усилия. Я чувствовал, что он так бы и шлялся по лесам, и это заставляло волноваться. Потому что если у него не было в деревне важных дел, то у меня-то были — и самые неотложные. Я должен был, вернувшись, переобуть кеды, нацепив парадные сандалии, натянуть чистую рубашечку и, дожевывая на ходу, бежать к пруду, под дуб, к патефону. Я принимался ныть, обманывая отца, что устал и проголодался, он же, видя меня насквозь и отлично понимая мои настоящие мотивы, поддразнивал меня, норовил дать кругая, тихо надо мной потешаясь. Однако у меня был его характер, я, как и он, был вспыльчив и нетерпелив, а потому вопил, что если так,

то пойду сам, отец ухмылялся и сдавался. Мы возвращались, причем я от нетерпения шел впереди в пяти шагах от отца, припрыгивая, то и дело озираясь с негодованием, мол, нельзя ли побыстрее. Но отец шагал ровным шагом, тихо улыбаясь.

Как-то само собой получалось, что за день мы набирали по две больших корзины отборных белых, и мать стонала зачем столько, куда вы все это несете и несете, и ее можно было понять — обрабатывать нашу добычу предстояло именно ей. Потому что у бабушки после второго инсульта почти бездействовала левая рука, сестрица была еще мала и принимала такое серьезное дело, как обработка грибов, за игру, отец считал свое дело сделанным, я же спешил под дуб.

И недаром спешил: мое дело продвигалось.

Наташка была ласкова со мною, приглашала на белый танец, который сама же и объявляла, мы топтались в обнимку, давя желуди, считалось — мы танцуем танго. Это было время перед приходом твиста, во всяком случае, в сельской местности. Твист, как танец масс, на пространствах социалистической родины появился двумя годами позже, и молодежью оказалась решительно отринута летка-енка, внедряемая по домам отдыха массовиками-затейниками. Впрочем, нам с Наташкой никакой раздельный твист был не нужен, иначе мы не смогли бы обниматься в танце и тереться бедрами до изнеможения. Она была чуть выше меня, я вытянулся только следующим летом, очень плотная и жаркая, но гибкая, и отчего-то мы поначалу не целовались — из моей робости, наверное, и по неумению...

Так бы и текло это дивное неспешное лето, если бы не страшное происшествие, случившееся именно на берегу пруда. Однажды на эту импровизированную танцплощадку пришли парни из соседнего села. Причем были они отчего-то крупнее и наглее наших деревенских парней. Я видел их лица — это были лица безжалостных захватчиков, не имеющих, впрочем, отчетливых целей. Это были лица скучающих людей, которые во что бы то ни стало решили развлечься. Девки их не интересовали — так, задрать походя подол. Их интересовала хорошая драка. Для нее на свежем воздухе поговорим летним вечером повода искать не нужно. Очень скоро пришлые сцепились с нашими, причем по всему было видно, что соперники давно знакомы, притерты в стычках, как две давно конкурирующие команды. Это была бы драка как драка, до первой кровянки, если бы вопреки всем правилам один из чужаков в азарте не вынул нож. Потом, когда он пырнул этим ножом светленького и мирного нашего паренька, выяснилось, что этот тип недавно вернулся после отсидки и в лагере, видно, позабыл о традиционном деревенском вегетарианстве. Парень, под визг девок, обливаясь кровью, упал на берегу пруда. Драка мигом иссякла, чужаки исчезли, а Наташка, тоже визжа, потому что не визжать было не принято, прикрыла меня собой, прижимая обеими руками, вцепившись в мои бедра, к своей спине. Тогда я понял, что она меня любит.

Умные и опытные женщины не ошибаются, когда избегают слишком явно предъявлять мужчинам свою любовь. Потому что те слишком быстро начинают принимать эту привязанность как должное. Несмотря на

мои ранние годы точно так было и со мной. Избалованный и капризный, сделав свое открытие тем вечером под дубом, я распоясался. Я стал вести себя с Наташкой небрежно, отклонялся, если она хотела погладить меня по волосам, как от матери в минуты ее ласки, мотал головой, когда она хотела меня поцеловать, — мы уже стали целоваться, — в то же время обмирая внутренне от гордости и счастья. Я мог ни с того ни с сего отвернуться от нее, дожидаясь, пока она не спросит взволнованно что с тобой. Я куксился и кобенился. Я вел с ней себя, как с бабушкой, когда та настаивала, чтобы я все съел, притом что аппетит у меня был самый здоровый, как у любого растущего организма. Дело дошло до того, что я стал приглашать на танец ее подруг, и — я краем глаза видел однажды — Наташка плакала в сторонке, а ее товарка гладила ее по спине. И испытал замечательное чувство удовлетворения, убедившись, что взрослая девушка так меня любит и так ревнует.

Между тем слух о поножовщине на пруду достиг ушей моих родителей. Придя в ужас, они настрого запретили мне даже думать о том, чтобы ходить под дуб по вечерам. То есть меня попросту подвергли домашнему аресту. А поскольку лето шло на убыль, то родители надеялись додержать меня на привязи до отъезда, день которого уже был назначен и заказана в сельсовете подвода. Днем-то я мог передвигаться свободно, но как мне было найти Наташку? Даже если бы я определил ее дом на краю села, днем я бы ее одну не застал — она с семьей до вечера занималась хозяйством. Видя, как я душевно занедужил, забросил книжки и с неохот-

той плелся с отцом в лес, мать придумала мне по вечерам занятие: я должен был помогать ей сушить грибы.

Как ни странно, от безделья и от поруганной любви я увлекся этим делом. Вы наверняка никогда не сталкивались с технологией, которую я тогда изобрел. Дело в том, что, когда нанизываешь крупные сочные куски на нитку, а нитку вешаешь перед печкой, верхние куски съезжают на нижние и не дают им сохнуть, и все они неминуемо слипаются. Так вот, между кусками следует прикрутить спичку. Тогда все пойдет как надо, и грибы отлично припекаются. Было и еще одно изобретение: поскольку грибов было много, а голландка одна, то я приспособил для сушки электроплитку. По краям табуретки я набил гвоздиков, цеплял на них нитки с грибами, а табуретку ставил так, чтобы плитка грела снизу. Это было хоть и пожароопасно, но эффективно, и вся изба дивно пропиталась грибным духом, который напоминал запах сушащихся сырых портянок.

Однако грибы не могли заполнить все мое бездельное время, поэтому я повадился в сарайчик для дров, пристроенный к избе сбоку. Потому что нашел там суший клад: старые письма. Кажется, писала их сестра хозяйки, жившая в другой области. Как я теперь понимаю, это действительно был бы сегодня бесценный документ военных лет. Но тогда по молодой дурости меня привлекало вовсе не содержание, довольно печальное, а, так сказать, стиль этих бесхитростных и безграмотных посланий. Деревенская женщина писала другой деревенской женщине о корове, детях, дровах что-то вроде карова занидужила мы ни знаем что и делать так страшно остоваться без малака и нее... И вот

однажды, наткнувшись в очередной раз на подобный перл, я решил его обнародовать и, ерничая и похохатывая, прочел вслух семье за ужином. И надо было видеть, в какую ярость пришел мой отец. Я не понимал причин его гнева, и он, смягчившись, объяснил мне, что я не должен никогда, никогда смеяться над людьми, которые, может быть, и не переходили в седьмой класс с двумя тройками за год, одна из которых как раз по русскому языку, но тем не менее много умнее некоторых сопляков. И это было хорошее назидание.

Перед отъездом, когда все мои были заняты сборами и паковали вещи, я ускользнул-таки вечером на танцплощадку. В этом месте надо бы сказать, как дрожало и билось мое сердце. Патефон играл А у нас во дворе. Под дубом не было свободного места — так хорош был этот августовский вечер. Девки, которых не пригласили, хрумкали яблоки — яблоками были завалены здешние сады. Я встал в сторонке, ища глазами Наташку, и вскоре увидел ее. Она танцевала со взрослым и грубым парнем, в котором я узнал одного из давешних налетчиков из соседнего села. Он, будучи много крупнее ее, крепко прижимал к себе ее бедра, то и дело опуская правую руку на ее зад. Она, было видно, оставалась этим вполне довольна, тоже прижимаясь, клоня русую головку партнеру на грудь.

Это была воплощенная измена. Это было уму не постижимое женское коварство. Меня охватила даже не ревность, а ужас при виде рушившегося на глазах мироздания. Ведь она меня любила. Кому теперь я смогу поверить, кому? Мне как-то не приходило в голову, что, вообще-то говоря, это я завтра уезжаю, покидая ее

навсегда, а она остается. Не было иного выхода — я решил утопиться. Ей и миру назло. Я представил себе горе родителей, их горькое раскаяние. Ведь это они заставляли меня сушить грибы, вместо того чтобы позволить танцевать с Наташкой под патефон. И тогда не случилось бы страшного.

Я спустился с косогора, обогнул санаторий, подошел к берегу. Наверное, в верховьях прошли дожди, потому что Ока текла очень быстро, неся какие-то ветки и палки. Вода в потемках была темно-серой и страшноватой, и от реки несло сырým холодом. Я был легко одет и продрог. Топиться решительно расхотелось. Я решил отложить это дело до другого раза, сообразив, что топиться в таких условиях совсем неуютно. Ведь можно и в самом деле запросто утонуть и простудиться, и невесть когда и где найдут твой синий труп. Когда я представил себе свое прекрасное любимое тело распухшим и посинелым, то и тени сомнений в том, что топиться не следует, у меня больше не было...

Наутро спозаранку, чтобы поспеть к первому катеру, подали подводу. Я и теперь хорошо вижу эту картину. Подводу нагрузили под завязку, при том что многие вещи были оставлены хозяйке до следующего лета, хотя все прекрасно понимали, что никакого следующего лета не будет: понимали и мы, и обрадованная хозяйка, которая с жаром уверяла, что все сохраним, вот те крест. Барахла было очень много, укладывали его долго, и так и сяк, но все равно что-то то и дело вылезало и вываливалось. Наконец, кое-как утрясли, и бабушку водрузили на узлы на самую верхотуру. И вот бедный коняга, поднатужившись, тронул, бабушка невозмутимо восседала

наверху, как баба на чайнике, мы же шли рядом с телегой: сестрица, держась за руку матери, отец и я.

Объездным, положим путем мы, наконец, прибыли к реке. Катер, по счастью, задерживался. Мы с отцом перетаскали вещи на пристань и опять усадили бабушку стеречь пожитки. Наконец, суденышко показалось вдалеке, выплыв из излучины. По течению, по быстрой воде катер приближался споро. Конечно, меня охватила грусть: оттого, что лето кончилось, оттого, что я никогда не увижу Наташку и в скором времени, наверное, не утоплюсь. И вместе с тем была радость, было предвкушение встречи с Москвой, с милыми дружками, уже не профессорскими сынками, но с новыми — попроче, с Сереней Черным, с Ленькой Беспрозванным, даже с Игорьком Бастынцом, хотя первые два были самыми закадычными, и меня охватило предчувствие городской жизни взамен надоевшей деревенской. Прощай, Велигож, вот и катер. Я оглянулся. Наташка стояла на косогоре и махала на деревенский манер косынкой. Нежно зануло сердце, внутри екнуло. И, испытывая тихое блаженство, я, глупец, гордо отвернулся, вместо того чтобы хоть махнуть рукой ей в ответ. Хотя, конечно же, мне так хотелось взглянуть на нее — в последний раз. До слез.

Как в бассейне не утонуть

Когда из открытого бассейна Москва на Волхонке спустили воду, то окрестные жители вздохнули с облегчением. Огромный бассейн был, разумеется, с подогревом, а вода — сильно хлорирована, что не было пустой

предосторожностью, ибо юные советские купальщики в те годы не отличались страстью к личной гигиене. Зимой над чашей бассейна стояла туча густого теплого пара, и, помимо испарений воды, это были пары хлора. Так что большую радость от закрытия бассейна испытали не только жители, но и художественная общественность, поскольку знаменитый Пушкинский музей изящных искусств стоял прямо напротив и хлор оседал на полотнах Рембрандта, Пуссена и Сезанна. Конечно, властям на искусство было глубоко наплевать, они тянулись к прекрасному разве что в тех случаях, когда удавалось забодать какого-нибудь урода кисти Матисса или Пикассо на глупый Запад, а на вырученные деньги отправить своих чад на сафари в Танзанию или на серфинг в Калифорнию. Нет, тут было другое.

История этого места хорошо известна. За границей еще в советские времена был издан альбом фотографий, сделанных по заказу властей, на которых было запечатлено сокрушение в начале тридцатых храма Христа Спасителя, построенного некогда именно здесь, в топкой низине на заливном берегу Москвы-реки, — эти фотографии позже, во времена послаблений, по видимому, утекли из закрытых архивов и были переправлены за бугор. Тогда же советскому архитектору Иофану было велено воздвигнуть на этом же месте не менее впечатляющее, чем погибший храм, здание Дворца Советов, и по проекту сооружение должен был венчать не крест, а тридцатиметровый истукан, и лысая его голова терялась бы в облаках. Но при царе строить умели лучше, чем при рабоче-крестьянской власти, и советский храм болото принять отказалось. От гранди-

озного проекта остался только забетонированный котлован, который при Хрущеве и решено было превратить в общедоступный бассейн, поскольку большевики всегда высоко ставили физкультуру и спорт. Это и понятно. Им нужны были сильные молодые солдаты и рабочие, всегда готовые к труду и обороне, надо же было кому-то защищать и кормить партийную номенклатуру.

Но во времена второй оттепели их последователи и ниспровергатели уже не так любили спортивное и оздоровительное плавание, а симпатизировали теннису и азиатским единоборствам, предпочитая водным дорожкам — татами, и к тому же ударились в православие. И храм было решено, осушив бассейн, возродить на том же самом месте. Здесь одна пикантная подробность: православие православием, хорошо на Пасху поддержать перед телекамерами свечку, стоя поближе к патриарху, но налоги населения уже давно работали в западных банках, поэтому решено было пустить шапку по кругу. И сердобольный наш нищий народ за несколько лет накидал-таки достаточное количество мятых червонцев.

Когда бассейн осушили, обнажилось кафельное дно, и посреди голой огромной круглой ванны осталась сиротливо торчать вышка для прыжков в не существующую больше воду. И вот кому-то из московских концептуалистов — тогда была мода на уличные хеппенинги — залетела в голову игривая мысль. А именно: выложить на дне бассейна именные звезды героев той прекраснотушной эпохи и пригласить в один из воскресных дней самих персонажей. Времена были праздничные и пьяные, царила карнавальная эйфория, все

любили друг друга, объединенные общими надеждами, которым, разумеется, никогда не суждено будет сбыться. И столичные начальники, напуганные призраком невесты как залетевшей к нам недолговечной тощей свободы, пошли фантазерам навстречу, потому что, закопав на всякий случай в саду на даче партбилеты, старались держаться в струе, не ссориться с интеллигенцией, намереваясь оставаться у власти как угодно долго — лучше всего навсегда.

В героях оказалась пестрая публика: бывшие комсомольские активисты, уже потянувшиеся к кооперативной деятельности, и попы-расстриги, диссиденты и заслуженные члены советских творческих союзов. Позвонили и мне, велели явиться к назначенному сроку, найти свою звезду и свое имя и постоять смиренно рядом. Случился и довольно веселый аттракцион. Один из гостей, заезжий из Израиля художник-авангардист и по совместительству экзгибиционист-радикал, взобрался на эту самую нырятьную вышку, достал из штанов свой причиндал и принялся прилюдно драть. Болельщики этого перфоманса снизу подбадривали его криками давай-давай, кончай-кончай. Снимала с верхотуры смельчака милиция, предотвратив оргазм, и было забавно наблюдать, как лезут по очень высокой узкой лестнице представители службы общественного порядка в сапогах, шинелях, при всей своей сбруе. Был промозглый, холодный октябрьский денек, и стоит ли говорить, что водки было выпито тогда немало. И немало склеилось дружб, которым предстояло в неведомом тогда будущем много испытаний.

Бродя по сухому дну, я нашел свою звезду и свое имя, но особенно внимательно я разглядывал само дно: ведь прежде видел его лишь через толщу хлорированной воды. Дно было хорошо знакомо и узнаваемо. А вот сама топография этого сооружения стерлась. Потому что было уже не угадать, где были женские раздевалки, а где мужские. И где какие были сектора. Уже снесли даже высокие кирпичные бортики, которые надежно отгораживали некогда так называемый спортивный сектор для избранных от лягушатника для простых смертных. Там, в этой запретной для широкой публики зоне, плавали и загорали актрисы театра и кино, манекенщицы и высокопоставленные молодые жены. Позже, уже перед смертью бассейна, у меня нашелся дружок по имени Андрюша — это с ним мы некогда куролесили во Флориде, — мать которого была тренером по плаванию и служила именно здесь, ходила в импортном тренировочном костюме по берегу, иногда свистя в свисток, что болтался на шнурке у нее на груди. По благу Андрюша отдыхал после многотрудных дней московского фарцовщика именно здесь, иногда брал и меня с собой. Мы лежали с ним в шезлонгах под солнцем, пряча глаза за темными очками, глазели по сторонам, глотали пиво и вдыхали флюиды, источаемые самыми красивыми в городе молодыми женскими телами. Конечно, у Андрюши завелись здесь и веселые подружки, сбивались компании, и часто этот спортивный день заканчивался в ресторане Дома кино, а потом в чьей-нибудь квартире или мастерской.

Но это было много позже. В отрочестве же мы дворовой ватагой частенько доезжали от станции Универ-

ситет до Кропоткинской, покупали билеты — до смешного дешевые, причем никаких абонементов тогда не заводили и медицинские справки не спрашивали. Мы шли в раздевалку, потом в душевые, а там, поднырнув, оказывались в своем, мужском, секторе, отделенном от женского лишь тонкой легкой ниточкой с нанизанными на нее большими пробками. Теоретически в сектор противоположного пола заплывать не полагалось, но кто ж откажется, поднырнув под символическую преграду, оказаться в окружении многих полуобнаженных девичьих тел. Под завесой пара с берега не было видно, что творится в воде, а там творились безобразия. Юные волки голодной стаей врезались в кучу женских тел, подныривали, щипля попки и голые ляжки снизу, стараясь невзначай дотронуться до причинных мест. Иногда какую-нибудь зазевавшуюся девчущку, отбившуюся от стайки подруг, брали в кольцо и немилосердно щупали, причем, входя в раж, подчас срывали лифчик и даже трусики — закрытых купальников юные тогдашние прелестницы не носили. Оказавшись голой, с отчаянным визгом девица прорывалась к выходу, выскользывая из ловких рук охотников, ища спасения в бассейновых гинееках.

Разумеется, заводилой подобных игр в нашей компании был все тот же Серега Гвоздев. Одно мешало ему: он очень плохо плавал. А для таких подвижных игр, как приставания к девкам в воде, требовалась сноровка едва ли не ватерполиста. Так что худенький Гвоздев держался у бортика, на мелководье, зяб, кадык ходил у него вверх-вниз от частых глотательных движений. Он бочком протискивался в женский сектор и стоял у вхо-

да, как голкипер. Остальная компания была для него как бы загоняльщиками. Потому что, перепугав девиц на глубине, мы гнали их прямо на него, и тут-то он мог довершать начатое и ловил какую-нибудь особенно не-расторопную растопыренными руками. У него был один ловкий прием: он делал футбольный бросок и быстро просовывал руку девице между ляжками. Потом он приподнимал ее тело, и девчонка обрушивалась в его объятия, образовывалась куча-мала, причем Гвоздев оказывался в самом центре этой веселой игры.

И вот однажды правила этого развлечения неожиданно оказались нарушены. Был тусклый январский каникулярный денек, причем очень морозный и ветреный. Гонять на коньках было холодно, и мы всей хоккейной дворовой компанией отправились в облюбованный нами теплый бассейн. В раздевалке было зябко, но можно было согреться под душем, и тепло было в хлорированной воде. Все шло как обычно, Гвоздев занял свою позицию на мелководье, но сидел на корточках — даже руку высунуть из воды на мороз было страшновато. Наверное, ему было очень холодно, и разогреться как следует он не мог: девиц в тот день в бассейне было до обидного мало. Но все же были, и через какое-то время мы заметили вполне подходящую деваху. Мы медленно окружили ее, и я, помнится, даже в густом облаке пара рассмотрел, что она довольно крупная и рослая, постарше нас. У нее была курносая рожа, а щеки казались особенно круглыми из-за того, что голову ее плотно облегал алая резиновая шапочка. Когда мы пошли на абордаж, девка повела себя совсем не так, как наши субтильные ровесницы. Она не стала

визжать, а принялась брыкаться — с силой не желающей идти в стойло кобылы. Но нас было много, кому-то она успела заехать по физиономии, однако силы были неравны. Пощипывая ее многими руками, мы оттеснили ее на Гвоздева, который уже растопырил грабли. Намерзшись и заждавшись, выглядел он очень решительно, почти свирепо. Преградив девахе дорогу, он уж нацелился сунуть руку ей между ног, как она неожиданно сделала кульбит и сильно пихнула Гвоздева ногой в грудь. Будь это на суше, удар был бы очень чувствительным. Охотник откинулся на спину, но дальше девица повела себя еще неожиданнее — чем скрываться в душевой, она сильными саженями поплыла к центру бассейна. Оскорбленный и разгоряченный Гвоздев ринулся за ней. Как уже было сказано, плавал он очень плохо, точнее сказать — почти совсем не плавал. Поэтому, оторвавшись от бортика метров на десять, он принялся тонуть.

Мы не сразу заметили его исчезновение с поверхности: в тумане ничего не было видно и на полметра. Девица давно скрылась, никто ее не преследовал, потому что, не сговариваясь, все решили, что надо бы найти какую-нибудь дичь, более пугливую и податливую. Серега, крикнул кто-то, мы поплыли. Но Серега не отвечал. Впрочем, на это никто и внимания не обратил, хотя я все-таки, как самый задушевный его кореш, задержался у бортика. Гвоздева нигде не было. И я решил нырнуть. Мы избегали открывать глаза в едкой воде, ведь очки для плавания тогда были только у настоящих спортсменов, но все равно являлись домой кроликоглазыми. Нырнув, я открыл-таки глаза. Мне не забыть этого

впечатления: скрюченное худенькое тело Гвоздева лежало под толщей воды на кафельном дне... И здесь у меня, как у автора, есть право на несколько вариантов дальнейших событий. Скажем, можно ведь и не спасать утопленника. Или спасти, но с опозданием. Положить на бортик спиной вниз и рассказать вам, что подоспевшие медики в белых халатах поверх пальто, ушанках и валенках были не в силах ничего сделать, потому что худое тело бедного Гвоздева уже окоченело. Что ж, это была бы почетная смерть на посту — смерть истинного солдата, часового раннего полового созревания, разведчика новых путей к вожделенным и запретным удовольствиям... Или все-таки спасти его вовремя, откачать и растереть медицинским спиртом. В конце концов что мне стоит заставить его кое-как окончить восьмой класс, поступить в училище, а потом, закончив техникум, пропадать в геологических таежных экспедициях, где, подпив спирта, повариха-эвенкийка спит со всеми по очереди. Можно даже позволить ему закончить заочно геологоразведочный институт и сделаться инженером, а там женить на Таньке или Наташке, посещавшей его же курс. Пусть она будет маленькая, толстенькая, некрасивая, но с милой ямочкой на левой щеке. Она родит ему девочку, ее назовут тоже Наташкой или Танькой, и вполне пристойно звучит Наталья, скажем, Сергеевна. Пусть он остепенится, нахохлится, друзьям юности станет чопорно протягивать узкую руку в перчатке, встречая их во дворе, куда его отправила супруга гулять с дочкой. Та лежит в коляске, гугукает, папаша в ней души не чает, и жутко подумать, каким он будет ревнивым отцом, когда дочка войдет в возраст. Нет, так

далеко я не буду заглядывать. Пусть себе Гвоздев тихо катит детскую коляску и лишь иногда, затянувшись сигаретой Шипка, поднимет глаза к окну, за которым некогда жила Оля Агафонова, и, быть может, вспомнит стихи, что так упоенно цитировал в отрочестве: светить всегда, светить везде...

Как не бояться высоты

Никто из них не желал мне смерти. Ни Серега Черный, ни Ленька Беспрозванный, ни даже Игорек Бастынец. Сегодня не вспомнить, как родился этот спор. Мы возвращались вчетвером из кино. Зальчик был затерян в переулках, идущих вниз от Смоленской площади, помещался на первом этаже ветхого дореволюционного мещанского дома, назывался кинотеатром, носил гордое имя Кадр. Теперь этого заведения давным-давно не существует, и дом скорее всего снесли. Но тогда мы исправно ездили туда раз в неделю, потому что билет стоил всего гривенник, и, что было особенно важно, нас, тринадцатилетних, беспрепятственно пускали на фильмы до шестнадцати... Именно там мы смотрели Великолепную семерку с Юлом Бриннером — десять раз. Помнится, дешевизна заведения была вполне оправдана: пленка то и дело рвалась, и на экране на белом фоне возникали темные, скачущие и дрожащие треугольники и кружки. Буфета не было, мороженое и лимонад мы приносили с собой. Зато не было и очередей, к тому же после титра конец можно было залечь под кресла, затаиться и дожидаться следующего сеанса, который выходил дармовым.

Добирались до своей киношки мы так. По Мосфильмовской шел троллейбус номер тридцать четыре — к Киевскому вокзалу. На Бережковской набережной мы сходили на остановке Дорхимзавод, а там шли по окружному мосту через Москва-реку и оказывались прямо перед Новодевичьим монастырем, отделенным от набережной длинным прудом с плавающими в нем дикими утками и лебедями, — когда-то это была старица, а позже вплоть до Лужников шли заливные луга, на которых некогда был монастырский выпас. Оттуда пешком до Кадра было пешком минут десять.

Окружным этот мост назывался по имени железной дороги, частью которой являлся. Это было монументальное сооружение постройки тридцатых годов. Мост держался на стальных опорах, посередине проходили колеи железнодорожных путей, а по бокам моста высились две огромные, метров тридцати в верхней точке, полукруглые металлические арки во всю ширину реки. Я не разбираюсь в мостостроении, но на мой взгляд эти арки были типичным архитектурным излишеством, хотя, быть может, и исполняли какие-то опорные функции. Они начинались от самой земли, потом полого шли вверх, с тем чтобы посередине медленно изогнуться и тем же манером пойти вниз. Каждая арка представляла собой такую конструкцию: ажурное стальное плетение венчала толстенная металлическая лента шириной в метр, вся испещренная круглыми крупными заклепками. Я так хорошо помню эту конструкцию, потому что по верху одной из этих арок, левой, если смотреть от монастыря, мне пришлось пройти.

Помнится, трое моих товарищей наскребли по карманам ровно рубль — десять эскимо на палочке. Потому что я решился пройти по верху моста на спор, а без интереса спорить на подобный подвиг было бы нечестно. Это сейчас, когда я смотрю снизу на этот самый мост, стоящий на своем месте и поныне, у меня кружится голова. Но тогда во мне еще была жива мальчишеская отчаянность и слаб инстинкт самосохранения. Впрочем, мои дружки, уверен, ни на что подобное не решились бы. Я же, помнится, отроком съезжал на санках, а потом на лыжах с почти вертикальных, в прямом смысле головокружных, горок, забирался на отвесные кручи, цепляясь за хилый кустарник, лазил по голым деревьям и на третий этаж по водосточной трубе.

Что такое страх высоты, я впервые испытал не сам, но увидел со стороны, когда через два года заделался альпинистом. Мы жили в палатках в Приэльбрусье, в Баксанском ущелье. Это была оборудованная база для начинающих, и с тренером у меня были некоторые тренировки на предмет соблюдения режима. Так, я ухлестывал за двумя ленинградскими студентками из Текстильного института, на которых сам тренер тоже положил глаз. Одна, была, помнится, родом из Карелии, беленькая, вторая, покрупнее и потемнее, совсем плоская, но с широкими бедрами, тоже из провинции, из Иванова, кажется, обе жили в Ленинграде в студенческом общежитии и были нрава самого веселого. Я ходил с ними в шашлычную, которая располагалась под Итколом, где мы пили сладкое крепленое вино Улыбка и курили болгарские ароматизированные сигареты Пчелка. Наверное, тренеру очень бы хотелось отправить меня с глаз

долой домой к папе с мамой, но я был на особом счету, как перспективный горолаз, и он ограничивался лишь нахлобучками. И вот почему: помимо того что я был парнем крепким и сильным, тренер, будучи в своем деле авторитетом и мастером высшей пробы, добился от федерации в порядке исключения разрешить мне и еще одной девице, тоже посещавшей секцию во Дворце пионеров, которую он вел, подрабатывая вне сезона, совершить пару восхождений. Дело в том, что по тогдашним правилам альпинизмом, мотоциклетными гонками и прыжками с парашютом, экстримом, как говорят нынче, можно было заниматься лишь по достижении восемнадцати лет. Кроме того, догадываюсь, я ему нравился как подающий надежды ученик и, возможно, продолжатель его дела. Потому что летней экспедиции предшествовали многие изнурительные тренировки и я научился лихо вязать узлы и вбивать клинья.

Перед первым восхождением вся группа была выстроена в линейку, перед каждым стоял его рюкзак, и тренер, переходя от одного к другому, безжалостно выкидывал лишние вещи, и особенно кручинились по этому поводу те самые легкомысленные девицы-студентки, которые собирались в горы, как на пикник. Каждому третьему пришлось засунуть к себе в мешок и по одной репсовой палатке, килограмма по четыре каждая. Одна из них досталась мне. И тренер обещал, что на маршруте палатки мы будем передавать от одного к другому.

А маршрут был таков: от Баксанского ущелья вбок уходило другое, поуже. Речка вилась между невысоких

гор, и мы шли, пока не достигли огромного, наползающего на ущелье ослепительно белого ледника. Обогнув его, мы пошли вверх по альпийским лугам, и вскоре стали видны высоко над нами снежные вершины, одну из которых нам и предстояло покорить. Здесь цвели эдельвейсы, пекло горное солнце, мы сделали привал, и мне вдруг залетело в голову покапризничать. Я подошел к тренеру и заявил, что устал и неплохо бы отдать палатку еще кому-нибудь. И тут я получил памятный урок, который вполне может сойти за хорошее назидание. Тренер молча попросил меня развязать рюкзак, у двоих из группы взял еще по палатке и обе ловко упаковал в мой мешок, ухмыльнувшись: мол, своя ноша не тянет... Помню, к месту ночной стоянки уже на границе снега я едва дошел, шатаясь, теряя дыхание, но крепко усвоил, что, когда тебе как угодно тяжело, последнее дело — начинать канючить и жаловаться, ведь может стать еще хуже...

Наутро, когда только-только начинало светать, объявили подъем. И я увидел, как из палатки выползла одна из моих ленинградок, та, что была поуже, помятая и счастливая. А следом за ней показался другой студент, но из Москвы, как сейчас помню, из Губкинского института, и у него был тот особенный уверенный вид, какой имеют по утрам мужчины, вполне довольные жизнью и собой. К этому типу я давно ревновал. Он был много старше меня и постарше всех остальных, потому что до института успел отслужить в армии. Я ревновал его даже не к студенткам только, но и к тому, какой он взрослый, ладный, спокойно-уверенный, как лихо играет в волейбол и каким успехом пользуется у дам. К тому же

я был уязвлен тем, что вместе с другими обречен был восхищаться его волейбольными подвигами, стоя у площадки в позе болельщика, тогда как он не замечал меня вовсе. Он был герой лагеря, да и мой тренер был герой, хоть и постаревший. А вот я героем еще не заделался, хотя очень стремился.

Это был мой первый подъем на вершину — на настоящую вершину. Сначала мы долго шли по слепающему снегу, опираясь на альпенштоки, становилось жарко, но снимать майки было запрещено — в горах в ультрафиолетовых лучах очень легко обгореть. Мы останавливались, нам разрешалось сделать лишь по глотку воды из фляги, шли дальше. Наконец, началось то, что называется на альпинистском жаргоне скальный участок. Сначала мы лавировали между каменных выступов, идя по языкам снега, но уперлись потом в скалу, и здесь пригодились навыки, добытые на тренировках. Впрочем, скалы были не нависающие, а отлогие, градусов под семьдесят. Тренер наметил пары, связки, как было принято говорить, мне в напарники достался один студент из Красноярска, натренировавшийся на своих столбах на Енисее. Одну ленинградку взял себе сам тренер, другую назначил волейбольному герою.

Ну техника подъема была ясна: один забивает клин, пропускает через карабин страховочную веревку, ползет выше, другой поднимается за ним, и все повторяется. Дело это медленное, но скучно не бывает: все внимание поглощено скалолазным делом. Наконец, мы достигли верха скалы, и тут выяснилось, что это еще отнюдь не вершина. Гора, как оказалось, была о двух головах, и мы стояли на той, что пониже. Вторая была пе-

ред нами и представляла собой не такую крутую, как ее сестрица, скалу. Но была одна каверза: между собой обе вершины, младшая, так сказать, и старшая, были соединены узкой перемычкой, по которой шла едва заметная обледенелая тропка шириной в метр, как та стальная лента наверху окружного московского моста. Перемычка эта была метров пятнадцати в длину, и это оказался самый трудный участок, потому что по обеим сторонам тропинки были страшные пропасти, у которых не было дна и в которые страшно было заглядывать.

Тренер пошел вперед — волейболист, как самый крепкий, страховал его. Тренер закрепил на той стороне страховочную веревку, перебросил ее конец обратно, и один за другим мы пошли по тропке, зажмурившись. Каждый знал, конечно, что подстрахован надежно, но был риск сорваться, повиснуть над бездной, колотясь всем телом о камни, и потом болтаться, как мешок, пока тебя не втянут обратно. Однако ничего этого ни с кем не произошло, и мы, ободренные близостью цели, легко добрались до вершины. Я не буду описывать эту банальную сцену: счастливые укротители высоты сбиваются кучкой над пирамидкой из камней, сложенной предшественниками, с торчащим из нее флажком. В нее торжественно помещается вымпел и нашей группы, все берут по камешку на память, но главное чувство вызывает сам вид распростертых под тобой мрачных гор, расселин и ледников, безжизненных скал и далеко внизу бесконечных снегов, и гордость за то, что ты все преодолел, а это и есть главный приз, окупающий все усилия, страхи, мозоли на ладонях от обжигающей даже

сквозь варежки веревки... На обратном пути я и увидел, что такое страх высоты.

Было так: когда мы спустились с главной вершины и вновь оказались перед узкой тропинкой, разделяющей пропасти, с одной из ленинградек, не той, которой достался этой ночью волейболист, но ее подругой, случилась настоящая истерика. Она села под скалой, и по всему было видно, что ее охватила паника. Это было, по-видимому, животное чувство, не поддающееся никакому рациональному контролю. Она редела, мотала головой, рыдала и стонала, и сквозь икоту можно было разобрать, как она повторяла нет, нет, я не пойду, оставьте меня. Кажется, в первую минуту даже наш бывалый тренер удивился. Потому что ситуация представлялась безвыходной: перенести ее, крупную телку, дрыгающую ногами и бьющуюся в падучей, на руках через пропасть было невозможно. Все были подавлены, и тоже присели, не понимая, как быть дальше. Тренер нашел в своей аптечке валерьянку, и растворенные в воде капли с трудом влили девице в рот — она сжимала зубы и мотала башкой. Остальным оставалось только ждать. Сейчас все почувствовали, как сильно задувает холодный ветер, и было зябко еще и потому, что мы оказались в тени, и огромный профиль покоренной нами вершины опрокидывался на пейзаж, казавшийся сейчас весьма неуютным. Я помню слезы, катившиеся по круглым щекам девицы, когда она на секунду открывала глаза, заглядывала в пропасть, опять замуривалась, и слезы снова катились из-под опущенных век... Конечно, рано или поздно она поднялась на ноги, вняв уговорам, и кое-как ее перекантовали ни живую ни мертвую на

большую землю. Но это было позже, а тогда, идя по арке окружного моста на огромной высоте,— до поверхности реки от самого моста было еще метров восемьдесят,— я не знал, что бывают на свете люди, которые боятся высоты.

Я шел, стараясь не смотреть вниз, а только под ноги. Неожиданно за моей спиной низко ударил монастырский колокол, потом пошел перезвон помельче. Трудно сказать, что со мной произошло, но я вдруг оторвал глаза от стальной ленты под ногами и глянул окрест. Мир, всегда видевшийся плоским, обрел объем. Я, будто в озарении, увидел высокие облака, слоями плывущие друг над другом, и понял, как в огромном пространстве висит солнце и кружатся вокруг него планеты. Отсюда, с высоты, привычный повседневный мир стал казаться игрушечным и картонным, как раскрашенный макет, а я сам крошечным и великим одновременно. Я не испытывал страха, только азарт и вдохновение, одаренный будто новым зрением. Мне почудилось какое-то особое мое призвание, будто предназначение быть не как все. И в этом новом чувстве была и сила жизни, и тяга к смерти, и восторг бытия и гибели. Я взмахнул руками и почти побежал вперед. И вот я уже стоял перед своими товарищами, поджидавшими меня на набережной и отчего-то прятавшими от меня глаза. Вот, возьми, пробормотал Игорек Бастынец, как самый жадный, и протянул мне рубль мелочью.

Сейчас я иначе смотрел на них. Я впрок увидел, как долговязый еврей Серега Черный бросит институт, делается разъездным фотографом и станет мужем-подкаблучником и нежным отцом. Мне пригрезилась

даже его жена, ленивая, неряшливая и вместе с тем властная баба с большим носом. Ленька Беспрозванный, оказалось, женится много удачнее, на дочке какого-то начальника, в новые времена пойдет в бизнес, разорится, залезет в долги и сопьется, что странно для еврейского мальчика. Впрочем, сопьются и два его брата, младший и старший, и в этом, наверное, проявится их русская кровь по матери, когда-то бывшей красивой деревенской девахой, пошедшей медсестрой на фронт и вытащившей с поля боя раненого лейтенанта-еврея Беспрозванного. А ведь это была дружная семья, по вечерам игравшая в преферанс.

Но самым удачливым станет Бастынец. Он закончит морское училище, женится на дочери своего кавторанга, поплавает, обогнув шар земной, и хорошо работает на перепродаже импортной электроники. Будучи списан на берег, осядет в Калининграде и возглавит автосервис, на котором будут делать новенькие мерседесы из заграничного краденого лома. И построит себе дом с бассейном... Рубль у него я не стал брать.

Как знакомиться с достопримечательностями

Мы познакомились, разглядывая спрятанный под колпак ботик Петра. Она была старше меня года на три — лет семнадцати. В этом периоде жизни три года — большая разница, и я имел все основания опасаться, что в ее глазах я — пацан. Но, во-первых, я приврал, что мне пятнадцать, во-вторых, показал, как ей наводить ее Смену на резкость. Собственно, она сама обратилась ко мне с этим вопросом, видя, как ловко я снимаю ботик

императора в разных ракурсах своим Зенитом-зеркалкой — хороший был аппарат по тем временам. Кроме того, я угостил ее западногерманской сигаретой НВ, она таких никогда не курила, узнал, что ее зовут Светлана — как мою мать, она же узнала, что я — Николай, сказала есть у меня один гражданский, тоже Колян. Еще одно преимущество было у меня, я был москвич, а она — подмосковная, то ли из Щербинки, то ли из Шатуры, ее ленинградская тетка давно живет у нас в доме, хворающая бобылка. Тетка и дала племяннице ключ от своей ленинградской комнаты. Светлана хотела ехать с подружкой, но та не смогла, денег не было, приехала одна, вот так и гуляю... Ага, смекнул я, к ней можно пойти.

Но сначала расскажу, как я оказался в городе на Неве. Это было знаменательное путешествие: я самостоятельно, один, приехал сюда в купейном вагоне поезда Красная стрела. Без родителей и сопровождающих, без вожатых и тренера, без единого попутчика — как знакомого, так и чужого. Я впервые в жизни был предоставлен самому себе, и проводница мне лично принесла сладкий чай в граненом стакане с подстаканником. Я сам, гордясь своей самостоятельностью, расплатился за напиток и за белье — отцом я был щедро снабжен средствами на путевые расходы.

Этот приз свободы и неподнадзорности я выиграл у судьбы, смертельно надоев учителям в нашей районной школе. Я толкался на переменах и шумел в классе, правда, не бил стекла в физкультурном зале, как это делали заправские наши школьные хулиганы, чего не было — того не было. Но вел себя еще несноснее, потому что был чрезмерно прыток, всякой бочке затычка, и

слыл к тому же всезнайкой. Я утверждал, что в Повести о настоящем человеке раненый Маресьев в лесу съел живого ежа. Когда матушку вызвали в школу, а она потом устроила мне нагоняй, я открыл соответствующую страницу. И даже родители были потрясены, то ли вообще не читав в свое время этот текст, то ли читав его невнимательно. Я мало того, что с ходу из-за парты первым кричал, что изображено на репродукции — Грачи прилетели, но и рассказал, будучи вызван к доске, кое-что из биографии художника. А именно, что Саврасов очень мало ел, но много пил и водку закусывал исключительно кислой моченой клюквой. Наконец, я написал за Серегу Черного сочинение на вольную тему Встреча, которая мне запомнилась. Мы сидели за столиком со скатертью в кафе-мороженом на Арбате, теперь в торце этого совсем парижского дома-улья на месте кафе — продуктовый магазин. Мы пили сухое вино из графина, как большие, и я набросал на бумажной салфетке сочинение для Сережи, называлось оно Как я повстречал бешеную собаку. Помнится, там со смаком расписывались сорок профилактических уколов, и наша учительница литературы оставила нас обоих после урока. Она спросила Сережу, сам ли он это написал. Тот горячо согласился. Нет, это написал он, сказала учительница, указав на меня, но я ставлю тебе, Черный, четыре, потому что написано хорошо. И странно на меня посмотрела.

Эта немолодая коренастая тетка была хорошим человеком, любила детей и свой предмет, ходила в растоптанных туфлях и всегда в очень свободном балахоне: казалось, будто она постоянно беременна. Она была по совместительству нашей классной руководительницей и

вызвала в школу на этот раз почему-то отца, устав, по-видимому, от матушкиной бестолковости и вечного стремления меня выгораживать с помощью высокомерных фраз типа что ж, мой мальчик рано развился... Позже я узнал содержание этого разговора. Учительница сказала отцу, что ему, то есть мне, тесно и скучно в этой школе и что ему, то есть мне, нужен коллектив более умственно развитый. Короче, не заберет ли меня мой отец подбру-поздорову, потому что в будущем неизбежны конфликты и осложнения, а учитель химии уже написала директору две докладные записки с просьбой ее от него, то есть от меня, избавить.

Было это в самом начале восьмого класса, и отец не стал откладывать дело в долгий ящик. Он позвонил знакомому академику-математику, который курировал самую модную тогда в Москве специальную школу, я был затребован на собеседование, прошел его успешно, поскольку натаскался на всяких олимпиадах, где приходилось решать задачки на сообразительность, и был принят в этот инкубатор для особо одаренных со второй четверти. Так что это самостоятельное путешествие в Ленинград на осенние каникулы играло роль моей премии: родители были очень довольны мною. Кажется, они недальновидно надеялись, что с переходом в такое заведение, в котором мне придется догонять соклассников, в первой четверти освоивших математику за полгода, их сын волей-неволей возьмется за ум а они отчасти избавятся от лишней головной боли.

В городе на Неве мне предстояло жить у дальних родственников отца — так называемых ленинградских Щикачевых, потому что были и московские, арбатские,

Щикачевы, — на пятой линии Васильевского острова в громадной по моим представлениям квартире. Все комнаты располагались по одну сторону длиннейшего коридора, справа, а слева тянулись чуть не обваливающиеся от наставленных и напиханных туда книг открытые книжные полки. Комнаты были связаны между собой, образуя анфиладу. Здесь обитало три поколения Щикачевых: дед и бабка, их сын-актер и его жена-переводчик, двое их разнополых детей, а в углу на кухне — рыжеватой щетины морская свинка, всегда жевавшая капусту.

Наиболее колоритным, конечно, было поколение старшее. Начать с того, что старики были кузенами, троюродными братом и сестрой, и брак их был некогда заключен чуть ли не с разрешения Синода. Старший Щикачев, заслуженный геолог и путешественник, именем которого был назван хребет на Тянь-Шане, был очень похож на Жана Габена из фильма Гром небесный, который был до шестнадцати и подсмотрен мною в уже упоминавшемся кинотеатре Кадр. Его жена была аккуратная светлоглазая старушка с гладко зачесанными назад седыми волосами, очень похожая на тетку отца тетьку Катю, которая тоже ведь приходилась ей дальней родственницей, только была, если это возможно, еще приветливее и лучистее. Из их сына-артиста уже выветрился дворянский дух, а его жена, то есть сноха Щикачевых-старших, была и вовсе простенькая. И дети уж были, в ту пору во всяком случае, самыми обычными советскими школьниками.

Но все это семейство я увидел лишь ближе к обеду, потому что не стал спешить и решил пофланировать по

Невскому. На Московском вокзале я предусмотрительно съел толстую сочную сардельку с куском черного хлеба, обмазав ее горчицей, и эта вольная сарделька, самостоятельно выбранная и самостоятельно оплаченная, тоже каким-то образом повысила мое самоуважение. Я пошел по проспекту, уже отчасти представляя себе ленинградскую топографию, — проспект должен был вывести меня к Неве, справа окажется Зимний, слева — Исакиевский собор, а напротив, наискосок, — Петропавловская крепость, памятник, так сказать, декабристам. Все так и произошло, все стояло точно по местам, и этот эффект дивного узнавания ранее не виденного умилял и трогал вплоть до какого-то восторга перед открывающейся мне навстречу новой и вольной жизнью.

Еще в середине пути, пройдя мост с конями, которых отливал Клодт, Казанский собор и памятник бегемоту на слоне, я заметил по правую руку кафе-мороженое Север с золотыми ручками на дверях и решил, что сюда непременно вернусь. В сумке через плечо помимо немудрящих пожиток были два блока тех самых западных сигарет, которых, я знал, в Ленинграде не продавали, да и в столице они случайно мелькнули лишь в отдельных местах, и я приобрел их в универмаге Москва на Ленинском, поблизости от моей новой специальной школы, — один я потом подарил Габену. Поклажа не мешала мне прилежно фотографировать все памятники и достопримечательности, что попадали в поле зрения, — я продолжал эту сессию несколько дней, вплоть до встречи со Светланой. Ноябрь выдался светлым и солнечным, и гранитные постаменты были подернуты серебристым искрящимся инеем. Город

мне, неофиту, казался неотразимо прекрасным, ведь я ничего не знал еще о его тайном гниении.

А ведь Ленинград уже тогда был неизлечимо болен. И самые чуткие его жители уже тогда начинали перебираться в столицу — в Москву, кстати, много лет спустя переехало и молодое поколение Щикачевых, разместившись в панельном доме где-то в Новом Переделкине. Но тогда ленинградский патриотизм еще не дал явных трещин и угнетающие нервы меланхолические белые ночи еще казались романтичны. Постояльцы этого неверного города — города наводнений, чухотки, бед и самоубийств — как бы не подозревали о химеричности собственного существования, и только некие душевные зуд и тик выдавали их, насельников этого рая для психопатов. И холодный камень их набережных, и заморские колонны и столпы, посвященные отнюдь не их победам, и чужеземные дворцы, и соборы-пришлецы, и капища чужим богам, как и отвратительно неудобные разводные мосты, непреодолимо разделяющие по ночам этот и без того невротический город на отдельные части, отчего-то только холили воспаленное тщеславие здешних провинциалов.

Наивный и доверчивый гость, я целыми днями пропадал на улицах, покладисто снимая истуканов на набережной, таящих под внешней беспристрастностью жгучую ненависть к тем, кто лишил их родных египетских песков. Я шлялся по Марсовому полю и запечатлевал нездешних нимф Летнего сада, хлопотал не забыть бы сфотографировать литье его ограды, я добрался и до Лавры, где нашли — досрочное, как правило, — успокоение столько славных покойников. Я покорно таскал-

ся по бесконечным анфиладам эрмитажных залов, за чем-то заноса в блокнотик имена авторов и названия картин, на которых не было изображено ни единого лица русского человека. Я стоял перед избыточно сочными, но от этого не менее мрачными натюрмортами больших голландцев, разглядывал рубенсовские мясные тела, как у той лагерной поварихи, и пышные воротники испанских грандов, косившихся на меня с высокомерным прищуром. И все фиксировал — откуда только взялась у меня, безалаберного, такая бездна прилежания! Должно быть, я отравился псевдоевропейским духом всей этой декорации колыбели революции и испытывал прилив благоговения — ведь я просто обязан был трепетать и восхищаться, иначе чего стоило бы мое славное путешествие в распахнувшийся мне нечаянно самостоятельный мир.

Мне и в голову не приходило шага ступить в сторону с туристической тропы, где в нос шибанул бы запах помоев и душу перевернули бы виды обшарпанных подъездов с побитой мозаикой и потрескавшимися витражами времен ар нуво, ржавых свай, торчащих из гнилых каналов, зассанных подворотен, запущенных дворов-колодцев, никогда не видевших солнечного света, всей страшной и убогой изнанки этого призрачного города, построенного по прихоти одного медного человека, чей бронзовый вздыбленный конь навсегда наступил копытом на русскую змею,— построенного на болотах и на человеческих костях...

Я подхватил Светлану и повел ее в тот самый Север, куда уж проложил тропу. Я ухаживал за ней, невзначай касаясь то руки, то коленки, предвкушая. Эта де-

вица, наверняка, была давно не девочкой и вполне доступна. Она курила, иногда подпускала в своей речи матерка, да и я сам, потеряв невинность на летней даче, чувствовал себя хватом. Она даже не была вульгарна, но простовата, из рабочей, наверное, семьи, и досугом ее были гуляния с такими же, как она сама, подругами в парке и танцы в клубе. Сухое вино она пила залпом, а мороженное ела, напротив, жеманясь, высоко поднимая ложечку и отведя в сторону мизинец. Она легко согласилась пригласить меня к себе, сказала пленку мне перекрутишь.

Ее обиталище тоже было на Васильевском, но дальше от центра, ближе в гавани. И моя-то линия не сверкала чистотой, в ее же районе было что-то разбойное, опасное, фонари горели один через два, остальные были разбиты. В подъезде пахло кошками, помоями, ступени были щербаты, а лифт не работал. Мы, поддерживая друг друга, добрались до ее третьего этажа, она отперла замок, в прихожей было тепло. Ты куртку с собой возьми, прошептала она и подтолкнула меня налево, мне тетка сказала, чтоб не думала водить... Сама же повесила пальто на вешалку, и я заметил краем глаза, что там висит милицейская шинель с погонами, и на погонах было по одинокой желтой звезде. Она на цыпочках подошла к двери в комнату, открыла, ввела меня, прикладывая палец к губам, — какая-то неясная тревога охватила меня. Но когда дверь закрылась и она прошептала у меня и выпить есть, мое волнение улеглось. Она достала початую бутылку 777, заткнутую скрученным клочком газеты.

Выпив, она заявила, что пленку перезарядить не умеет. Я подсказал, что надо бы выключить свет и накрыться с головой — чтоб не засветило, поняла она. Мы забрались под одеяло, она пахла сдобной чистотой сушившегося во дворе белья, дешевым мылом, и волосы у нее оказались легкими и мягкими, она посапывала, пытаюсь угадать, что делают с фотоаппаратом мои руки. Конечно же, пленка скоро была забыта и началась пододеяльная возня. Мне удалось стянуть у нее из-под вязаной кофты лифчик, а также расстегнуть резинки от чулок. Но трусы она не желала отдавать, сжимала ляжки, бормоча с первого раза не приучена. А ведь наша дворовая любовная наука гласила, что если трусы сняты, то дело, считай, сделано. Борясь, мы скатились с громким стуком с дивана на пол, она брыкалась, я умолял, она громко шипела пусти, кому говорю. Но все-таки трусы были стянуты, и в дверь громко и властно постучали. Ну вот, панически прошептала она, я же говорила, дурак, теперь прыгай во двор, куртку бери...

Дашь — тогда прыгну, прошептал и я, весь в поту, со спущенными штанами, задыхаясь от желания, страха и отваги. Она обреченно раздвинула ноги, и сию минуту моя капель оросила ее лоно. Дверь распахнулась, и вспыхнул яркий электрический свет.

На пороге стоял коротко стриженный седой мужик в голубой майке, домашних тапочках и синих галифе с красными лампасами. Из подмышек у него торчали рыжие пуки. Попались, сказал он мрачно и крикнул, не отрывая от нас, жмущихся к стенке, глаз: Люся, звони. Застегивая штаны, я понимал, что меня постигла катастрофа. Светлана всхлипывала, забившись в угол дивана,

и безуспешно пыталась застегнуть на спине застёжку лифчика. Милиционер тем временем говорил будто сам с собой в том духе, что, мол, до какого разврата дошли, а за стеной дети. Впрочем, очень скоро в квартиру вошли два молоденьких милиционера и нас вывели на улицу. По тем же темным проулкам мы вскоре достигли околотка. Она все повторяла у нас ничего же не было, а я, горя лицом, понимал, что меня сейчас посадят в колонию. Мне было очень стыдно и страшно, до тошноты, и особенно стыдно отчего-то перед стариками Щикачевыми.

В милиции с дежурным был разговор короткий. Дежурный спросил, что майор сказал с ними, то есть с нами, делать. Проверить желательно, стеснительно произнес один из молоденьких конвоиров, жадно на Светлану поглядывая. Тут она опять заголосила свое у нас ничего не было, что было, конечно, бесполезно в этой ситуации. Вот мы сейчас и проверим, сказал дежурный, проведем экспертизу. И подвывающую Светлану куда-то повели. Ты кто такой, спросил офицер у меня, учащийся, а документы есть? Я дрожащими руками извлек из внутреннего кармана куртки справку из школы, взятую для того, чтобы приобрести железнодорожный билет за полцены. В восьмом классе, а уже по блядям шастаешь, констатировал дежурный, равнодушно и понимающе, и стал что-то писать, прижимая справку левой рукой к столу. При этом он качал головой и хмыкал, скорее с удовлетворением. Ну вот, сказал он, возвращая мне справку, в школу твою сообщим. И тут я, потрясенный всем случившимся, стыдясь себя и этой перспективой огласки еще больше, чем видением тю-

ремных решеток, представил себе, как читает мой покровитель академик протокол моих подвигов. И позорно разрыдался. Простодушно я применял подсознательно старый детский прием, имеющий целью разжалобить взрослых, но это, я понимал, все равно было чудовищно малодушно, а ведь еще недавно я был герой. Свободен, сказал дежурный, ну иди-иди... На улице меня проняла дрожь, охватила слабость и я принялся блевать.

Было-то всего десять часов вечера, когда я позвонил в квартиру моих хозяев Щикачевых. Они, конечно, разглядели, что мое лицо, несмотря на фальшивую улыбочку, совсем заплакано. Да и портвейном от меня, скорее всего, пахивало. Но ни о чем меня не спросили. И я им ничего не рассказал...

Никто ничего в школу, разумеется, не прислал. И я почти забыл об этом случае, но иногда, как бывает, когда ни с того ни с сего вспомнишь что-нибудь постыдное, с тобой случившееся, меня бросало в жар и пот. Особенно стыдно мне бывало за то, что я бросил в беде эту девочку, ведь не нужно иметь особой фантазии, чтобы понять — что в околотке милиционеры с ней сотворили. Я уговаривал себя, помнится, как свойственно всем подлецам, что, мол, сама во всем виновата. И я никогда об этом случае никому не рассказывал, даже своим закадычным друзьям.

Как Хлебникова читать

...И даже козни умных самок, Когда сам Бог на цепь похож Холоп богатых, где твой нож? О, девушка, души

косой Убийцу юности в часы свидания За то, что девою босой Ты у него молила подаяния...

Беда была в том, что даже на улице, когда мы всей нашей небольшой стайкой выпархивали из дверей Юношеского зала Ленинки на улицу Маркса и Энгельса и шли в сторону Пушкинской, пересекая Горького у Телеграфа, а потом вдоль по Столешникову, в голове само собой складывалось и звенело, выпевалось чуть не хором:

И где твой дядя честных правил?

Ужо и этот занемог,

И больше тетю убийца ранний

Уж не спасет в часы свиданий,

А только выдаст под расписку анемон...

Кто первым придумал читать Хлебникова, сматываясь с уроков? Быть может, я сам, а может быть, и Юрочка. Дело в том, что вольные, не по программе, — Песню о соколе я так никогда и не прочитал — уроки литературы нашего обожаемого Якобсона, что он давал нам в специальной математической школе, начинаясь с Блока, с дрожали желтые и синие, неуклонно утыкались в раннюю Ахматову, в Цветаеву средних пражско-парижских лет, а на позднем Пастернаке и вовсе пробуксовывали и замирали, хотя нам по первой глупости больше по сердцу были не любовные причитания доктора, а ранний и витиевато-метафоричный поэт, так что и за возом бегущий дождь соломин звучало, и исчадья мастерских, мы трезвости не ищем имело место. Но поскольку из детской мы приволокли с собой и Маяковского с Есениным, и какого-нибудь Луговского с Тихоновым, то не могли не натолкнуться на лакуну: все-таки

рядом с Маяковским возле Бурлюка маячил и Председатель Земного Шара. Мы не знали его, а наш учитель, по всей видимости, его не жаловал, как не любил и Маяковского, разве что раннего, задолго до РОСТА, когда вошла ты, резкая как нате. Так что заполнять пробелы приходилось самостоятельно.

А путь в Ленинку той весной был прочно проторен. Там в те баснословные годы оттепели давали в наши неверные юношеские руки бесценные прижизненные издания Мандельштама и позднего Волошина, Демоны глухонемые, — и это была одна из бесчисленных иронических гримас советских будней, — распространялись лишь в самиздате в виде перепечатанных на машинке на плохой папиросной бумаге неудобочитаемых расплывающихся строф, однако официально не переиздавались. Позже оплошность была исправлена, все эти ранние издания упрятали в спецхран почти на два десятка лет, но тогда — то ли по вредительской прихоти какого-нибудь библиотечного либерала, то ли по привычной советской расхлябанности — их запросто можно было заказать в любой читальный зал, хоть для аспирантов, хоть для школьников, выписав шифр из генерального каталога. Вот так Хлебников и залетел в наши пустые головы, мы даже его письма родне в Астрахань штудировали, при случае говорили родителям деньги получил, излучил, спасибо.

Впрочем, отнюдь не все в нашей компании, в которой готовились поступать в МФТИ, в Бауманский или на физический факультет университета, так уж любили литературу. Хотя Хлебников был всей ватаге по вкусу, потому что, как сказала бы следующая за нами генерация,

под него, рифмовавшего Тютчева с тучами, отлично можно было стебаться, причем так, что было уж не понять, где строки великолепно косноязычного Велемира, а где нескладухи нашего домашнего пиита, десятиклассника и самодеятельного художника, Юрочки Коржевского:

И дева пойдет при встрече,
Объемлема волосами своими,
И руки положит на плечи,
И, смеясь, произносит имя,
И она его для нежного досуга
Уводит, в багряный одетого руб,
А утром скатывает в море подруга
Его счастливый заколотый труп.

Этот счастливый заколотый труп приводил нас в полный восторг. Мы не верили Юрочке, когда он божился, что не сам придумал, забив косяк дури, и это что ни на есть самый подлинный Хлебников. Вы темные, говорил он, вот угадайте, кто написал:

Там будут барышни и панны,
Стаканы в руках будут пенны...

Северянин, угадывали мы хором. А вот и нет, он же, Велемир. А это:

Очи Оки
Блещут вдали.

Фет, орали мы, уже подлаживаясь к его стебу. Нет же!.. И нам хватало этой игры и на весь путь до Ямы, и на первые три кружки. Потому что помимо Хлебникова мы любили разливное жигулевское с солеными сушками. Любили хотя бы потому, что эти застолья бывали

дешевыми и в обратно пропорциональной дешевизне зависимости — долгими, до поздних весенних сумерек.

Пива мы, с еще не изношенным ливером, как выражаются нынче, со здоровыми мочевыми пузырями, выпивали страшно много. Кружек по десять на брата — считалось нормой. Хмель, поначалу приятный, по мере увеличения на столе количества пустых кружек, становился все тяжелее, мозги работали все туже, строки смазывались, комкались строфы, заедало рифмы, оседало тело, и подгибались ноги. Пошатываясь, мы то и дело по очереди бегали в туалет, реже всех — единственная в нашей компании свой парень девочка Танечка, моя подружка с начала девятого класса. И мы часто стебались, иногда в рифму, на тему о безразмерности дамских мочевых пузырей.

Здесь приходится сделать небольшой вираж, чтобы рассказать о Танечке побольше. Она училась в параллельном классе Б — ароматная, желанная шестнадцатилетняя женщина. У нее были милые веснушки, прелестная, чуть застенчивая улыбка, лакомые губы и развитая фигура. У нас была любовь, то есть страсть, то есть неразлучничество. Как раз той осенью девятого класса под какими-то кронами мы впервые слились и не размыкали рук до самого выпускного бала, после которого потоки жизни неумолимо понесли нас в разные стороны мира, прочь друг от друга. Но тогда — тогда мы были столь парой, что даже учительницы из старых дев умилялись, на нас глядячи.

Танечку, когда б не ее страсть к пиву и не ее привязанность ко мне, можно было бы назвать строгой и серьезной девушкой. Во всяком случае, она не матери-

лась, курила, не затягиваясь, от похабных анекдотов морщилась и обладала лучшими среди нас способностями к математике. Сдувая пену, она на спор брала логарифмы в уме, тогда как я, к примеру, так и не освоился по лени и любви к поэзии даже с логарифмической линейкой...

Столь молодых посетителей, кроме нас, в этом подвальном заведении с полукруглыми грязными и оттого тусклыми окошками под потолком, как правило, не бывало. Попадались какие-то одиночные поношенные мужички, прилежно чистившие на газетке принесенную из экономии с собой магазинную воблу,— в заведении тогда не подавали горячего, но закуски к пиву были в ассортименте,— компании из трех человек, под столом наливавшие себе в пиво водку из поллитровок, и вечно сидели по пять, а то и по десять человек за сдвинутыми вплотную несколькими столами бородатые художники в свитерах, те самые исчадья мастерских, с грязными от набившейся краски ногтями, с плохо отмытыми разбавителем разноцветными руками. Юрочка, охмелев и осмелев, иногда подсаживался к ним и задавал профессиональные, как ему казалось, вопросы. Они молча подвигали ему кружку пива — всегда заказывали впрок, и полными кружками был заставлен стол, — но не слушали его, конечно, как бы не замечая подмастерья. Кстати, потом Юрочка набился-таки к кому-то из них, писавшему на заказ портреты по фотографиям, в подвальную мастерскую на Суворовском, бегал за водкой в Военторг, но вскоре разочаровался в продажном искусстве — халтура, — разуверился в водке, устал от кваса с

хреном на похмелье, вернулся к своей дури и поступил в институт нефти и газа им. Губкина...

Бывало, мы с Танечкой за столом принимались целоваться, лизаться, как говорили недовольные наши товарищи, и если бы они только знали, что после пива мы с ней, удирая от них, забивались в какое-нибудь парадное и наспех предавались торопливой неловкой любви, то умерли бы от зависти. Что ж, мы тогда любили друг друга без оглядки, не думая о будущем.

Так же бездумно и счастливо мы все вместе сидели за мокрым от пивной пены столом, болтали глупости, травили анекдоты, на которые тогда еще была память, делились сюжетами просмотренных фильмов и рецептами изготовления шпаргалок — по основным предметам в нашей школе применялась вузовская система, чтобы мы, будущие абитуриенты, загодя привыкли сдавать зачеты, тянуть билеты на экзаменах и обманывать преподавателей. И несносно раздувались наши мочевые пузыри, а вставать из-за стола не хотелось, да и сил не было, тянули до последнего.

И здесь требуется маленькое отступление, иначе не оценить важности для меня одного пустякового, в общем-то, события, вполне рядового, случившегося однажды в гардеробной этой самой пивной. Этой же зимой моего отца впервые выпустили за границу по приглашению Брюссельского университета. Он отбыл на две недели, до этого месяца два слушая пластинки с французскими уроками, и потом мне говорили общие знакомые французы, что в языке натаскался он вполне сносно. Семья жила в ожидании, потому что никто никогда в нашем семействе еще не пересекал государст-

венную границу. Волновались и мать, и сестра — мать больше, поскольку пережила за свою жизнь много больше разочарований и, наверное, предвкушала очередное, хорошо зная несколько эксцентрический характер супруга. Она не ошиблась, подарки, как оказалось, он привез только мне — и себе. Возмущенной матери он сказал невинно, в ответ на ее претензии, у тебя же, Светочка, все есть, чем вызвал бурю праведного негодования. Это она еще могла бы как-то перенести, сжав зубы. Но к форменному припадку какого-то бессильного бешенства привело ее созерцание диковинной вещи, которой папаша одарил самого себя. А именно — он приобрел себе ярко-оранжевый пробковый жилет яхтсмена.

По прошествии лет мать могла говорить об этом предмете, долгие годы пылившемся на антресолях, с оттенком юмористическим, подведя эту тему под рубрику его причуды. Но тогда она зарыдала, взывая неизвестно к кому, поскольку в Бога она не верила, зачем, зачем ты это сделал... Ее реакция несколько озадачила отца. Ведь она прекрасно знала, что он не умеет плавать, а вода, если он окунается, попадает в уши, что ему категорически вредно. А в жилете яхтсмена его тело будет сохранять положение поплавка, голова будет оставаться сухой, и таким образом он пополнит отряды пловцов или даже спасателей на водах. У нее не хватило сил спросить, куда, собственно, он собирается плыть и кого спасать. Этот вопрос непременно задал бы пыливый я, однако моя ирония была мигом погашена, когда я получил ярко-алый роскошный свитер-реглан толстой вязки и без горла, бесценный по тогдашней по-

вальной моде тончайший плащ-болонья воздушного палевого цвета и глянцевый диск со смеющейся простецкой рожей Сальвадоре Адамо впридачу — в СССР этот французский испанец тогда тоже был на пике популярности, все подпевали его мелахолической песенке про снег, под которым ты не придешь сегодня вечером, хотя болонья, конечно, котировалась выше.

Примерив свой новый прикид, как стали выражаться много позже, я просто раздулся от гордости. Ничего подобного не носил не только никто из моих дружков, но никто в школе, включая десятиклассников и педагогический персонал. К тому же у меня уже были выторгованные у матери и сшитые в ателье роскошные ядовито-зеленого цвета брюки-клевш, что тогда тоже было модно и в которых меня и так-то не пускали в школу. Так что вкупе с ярко-красным свитером эти зеленые штаны должны было составить просто убийственный ансамбль, вполне тянущий на отдельное заседание педагогического совета.

Так вот, во время очередного посещения Ямы я по дурости сдал свой бесценный плащ-болонью в гардероб, хотя он складывался в невесомый комочек и помещался в кармане. И сильным ударом было для меня, когда на выходе я получил плащ, но совсем не тот и не мой — какое-то грубое толстое изделие производства Румынии грязного темно-коричневого цвета. Я испытал не прилив скорби, но приступ отчаяния и пьяного негодования. Короче говоря, я стал препираться со швейцаром, который кричал что сдали, то и даю, милицию вызову, хулиганы!..

Дебош действительно разгорался. Мои дружки тоже лезли на рожон, и неведомо, чем дело кончилось бы, когда б не рассудительная Танечка. Она произнесла сакраментальное а вот Хлебников даже не заметил бы... Все примолкли. Я же с тоскою подумал, как буду выглядеть в глазах отца, он может подумать чего доброго, что я поменялся с кем-нибудь не без выгоды для себя. Танечка читала мои короткие мысли. Отец тоже не заметит, шепнула она. Я сдался и, чертыхаясь, напялил чужой некрасивый, такой обыкновенный, затрапезный плащ. Мы вышли из подвала, поднялись на Пушкинскую, компания была подавлена моей подавленностью, все молчали. Облакины плыли и рыдали... Отец и вправду ничего не заметил.

Как волка приручить

Наши квартиры были на одной лестничной площадке, дверь Майи с красивой табличкой витиеватого восточного стиля соседствовала с нашей дверью. Соответственно, стена большой комнаты, где был рабочий стол моей матери, а спали бабушка и сестра, была общей с гостиной Майи. Там у нее — я знал — стоял импортный мебельный гарнитур, который хозяйка приобрела по специальной разнарядке на своем основном месте службы, в Центральном Совете Профсоюзов,— она занимала там не самую верхнюю, но заметную должность,— а также ковер по спискам и цветной телевизор по блату. Впрочем, она еще и подрабатывала: читала лекции по марксистско-ленинской философии, со-

стоя доцентом философского факультета МГУ, откуда и происходило это ее двухкомнатное жилье.

Майя могла бы быть весьма важной советской теткой с маленькими глазами и сухим ртом, не подступись,— когда б чванилась. Но она оставалась смазливой кокеткой уходящего бальзаковского возраста с умопомрачительной бабеттой на голове — советская номенклатурная мода, подсмотренная у молоденькой Бриджит Бардо еще в те времена, когда секс-символ тогдашней Франции любила в Париже знаменитых красавцев, а не на ферме в Провансе — котов, козлов и овечек. Впрочем, Майя изредка дополняла свой причесон, как тогда выражались, игривой челкой не по возрасту. И это была, конечно, вольность, тогдашняя министр советской культуры, скажем, такого себе позволить не могла. Майя к тому же всегда была неумеренно накрашена и удушливо надушена. В старину про таких говорили фря, позже — чува, нынче сказали бы не без цинизма бабеч не сдается.

Мне тогда только исполнилось семнадцать, и Майя с замиранием рассказывала моей матери какой у вас красивый сын, а поднимаясь со мной в лифте, краснела и принималась натурально дрожать, глаза отводила, казалось, могла упасть. Чувствуя градус ее страсти, я мысленно не раз представлял себе, как звоню в ее дверь, застаю ее на кухне полуодетой, с вялыми ляжками, прижимаю к кухонному столу, или к стене, или даже к плите с опасно кипящей за ее спиной кастрюлей, отстегиваю резинки от ее пояса. Она всегда упорно грезилась мне занимавшейся готовкой, желательно в бигуди, какой я ее никогда не видел. Причем в наряде не домаш-

нем, но то ли циркачки, то ли исполнительницы канкана, и эти фантазии рождались у меня скорее всего по контрасту с серьезностью и официозностью ее служебных занятий и обильностью партийной нагрузки. И кухонный секс с ней был бы профанацией всего строя советской партийной жизни и его разоблачением.

Быть может, уловив момент, я бы и нагрнул к ней, — полагал самоуверенно, что она мне не откажет, — если б не ее молодой муж, по счету третий, кажется: от первого брака у нее осталась взрослая дочь, уже устроенная машинисткой по линии МИДа и пребывавшая в данное время в германской восточной республике. Дело не в том, что этот самый муж казался таким уж непреодолимым препятствием, хотя действительно был скорее домоседом. А в том, что он ее, кокетку в маске советской номенклатурной дамы, нещадно и сладострастно колошматил. Ее сдержанные крики по вечерам отлично были нам слышны, ничуть не менее отчетливо, чем его вопли го-о-о-ол, доносившиеся из соседской гостиной, когда муж смотрел там футбол по телевизору. И эта ее избитость при внешней шикарности меня расхолаживала, ведь жалость к стареющей даме никак не способствует похоти.

Низкорослый армянин из Нагорного Карабаха, муж Майи, и сам имел номенклатурный пост, будучи заместителем главного редактора не то Гудка, не то Труда. И, может быть, в партийной иерархии занимал даже более заметное место, чем его жена, весьма далекая по своему нраву от кротости Пенелопы. И это ее, скажем, жизнелюбие, возможно и воспрепятствовало некогда еще более блестящей карьере, к каковой она, казалось,

была предназначена самой природой. Так или иначе, но по утрам за ним приезжала черная Волга с шофером, а за Майей — нет.

Это был вообще довольно странный тип: он стремился со мной дружить, тогда как сама Майя на меня лишь облизывалась, а confidentкой своей выбрала матушку, приходила с плохо замазанными синяками на физиономии плакаться. Армянский же муж зазывал меня в гости — откуда мне и был знаком их интерьер, — с гордостью показывал картины маслом, до которых был охотник. Изюминкой его небольшой коллекции был Яковлев, но не тот, который из подполья, писавший вслепую акварелью рыб и цветки, а настоящий, из племени героического раннего русского авангарда. К тому же муж обменивался со мной самиздатом. Скажем, я помню, ко мне каким-то чудом попало одно из первых заокеанских изданий Набокова, это была, кажется, Защита Лужина, книжка безвредная на мой взгляд, хоть и забугорная. Ее я дал армянскому соседу, а вот машинописный Котлован — побоялся, все ж таки он был партийный бонза и вряд ли владел техникой интеллигентской конспирации, в которой я уже был дока. Впрочем, я отчего-то был уверен, что он не станет на меня стучать, наивно полагая, что ему как-то не по чину доносить на юного соседа, только заканчивающего школу. То есть я думал о нем в моральных категориях, тогда как советская буржуазия, как, заметим, и любая другая, руководствовалась в своих поступках лишь целесообразностью. Тот же факт, что он нещадно колотил свою жену, хоть и повыше его ростом, но не умевшую дать сдачи, попадал в моем сознании не в моральный ряд, а

шел по разряду особенностей его горского менталитета, хотя никаких других этнографических признаков ни в его поведении, ни в его речи не наблюдалось вовсе. Кроме разве что вполне трубадурского имени, какие любят давать детям в каменистой Армении: он звался Роланд. В нежные минуты, которые у них, кажется, становились все более редкими, Майя называла его Ролик.

Как раз на эту весну моих экзаменов и пришелся кризис в этом добром семействе, закончившийся разрывом, отставкой Роланда, его полным исчезновением во мраке бытия вместе с картинами Яковлева, с табличкой с двери, где была выгравирована его армянская фамилия с дефисом, и с люстрой чешского стекла, по которой Майя особенно долго горевала. Мне неведомо, куда он сгинул и обрел ли этот симпатичный карабахский парень свой Грааль, но Майя простаивала со всем недолго, и уже к июлю в ее квартире поселился следующий муж, еще моложе прежнего, но тоже с местрельским именем: Артур. Этот рыцарь не был армянином, но — евреем, для разнообразия, что ли, и государственная черная Волга за ним не приезжала, поскольку он владел весьма редкой по тем временам прибыльной профессией и ездил на собственной белой. А именно — он был пластический хирург. И этот факт, как вы сейчас увидите, оказался причиной резкого переворота в жизни Майи — в сторону добропорядочного тихого старения. Да и самому красавцу Артуру любовь к Майе обошлась весьма дорого. Но это случилось чуть позже, когда они уже завели собаку.

Познакомились Артур и Майя в мае в одном из бесчисленных партийных подмосковных пансионатов

Березка, испытали прилив взаимной страсти, ненадолго расстались с тем, чтобы уладить дела с прежними супругами — Майя была, разумеется, поколочена, но не сильно, обозвана развратной старухой и лишилась, как сказано, люстры. Артур же управился и вообще легко, оставив прежней супруге квартиру со всеми пожитками, и его чемоданы были аккуратно уложены. Уже в июне эта счастливая чета стала неразлучна. Артур был с изюмными, как у булочки-жаворонка, глазами, профессионально улыбчивый, литературно мало вменяемый, в отличие от предшественника, но ухоженный, вежливый, очень предупредительный к женщинам, и за фразу, адресованную моей матушке, ни разу не видел такую свежую кожу она его приняла, хоть и незло над ним подтрунивала. Ну да это по привычке, наверное. Потому что это был настоящий нежный красавчик, из тех мужчин, кого в детстве наряжали в девичьи платья. У него к тому же были совершенно девичьи пышные ресницы, но маленький упрямый рот, и лишь эта деталь свидетельствовала, что под конфетной оберткой скрыта сильная воля. Хотя, глядя на его робкие руки с чуткими, тонкими пальцами, трудно было представить их сжимающими грубый колюще-режущий инструмент... Майя помолодела, охладела ко мне и обнаглела настолько, что однажды светски и безразлично справилась у меня в лифте хорошие ли в школе отметки, как будто еще недавно не готовилась отдаться мне на кухне, о чем, впрочем, сама, скорее всего не подозревала.

В июле она и Артур отправились в свадебное путешествие в Ессентуки. Оттуда, утомленные отдыхом и любовью, они привезли похожего на немецкую овчарку

приблудного пса довольно свирепого вида. Майя утверждала, что пес так привязался, поедая ее обеды возле столовой, что бросить я его никак не могла, не могла никак... Артур ведь такой добрый, добавляла она, сразу согласился, он любит животных. Артур не возражал, когда слышал эти разговоры, косился на псину с опаской. Моя мать как-то натужно острила, что детишки, конечно, им нужны, Майе же самой рожать поздновато, так что и собака сгодится, но пес на Артура совсем не похож, наверное, внебрачный. Быть может, она пыталась таким образом скрыть свой страх перед этим новым нашим соседом, который все наше семейство, как, впрочем, и всех остальных обитателей нашего этажа и нашего подъезда, решительно невзлюбил. А уж когда ветеринар сообщил счастливым молодоженам, что, по видимому, это не совсем овчарка, а скорее всего помесь овчарки с диким волком, и Майя с воодушевлением поделилась этой новостью с моей матерью, мы и во все скисли. Хотя бы потому, что у нас была обожаемая всей семьей фокстерьериха Топси, которую волк решил загрызть непременно. А заодно с ней и все наше семейство.

Дело осложнялось и еще одним обстоятельством. Поскольку квартирка Майи была совсем мала, а волк был большой, то простоватый Артур со своей обворожительной улыбкой и со словами извинений, что, мол, пес еще не стал совсем домашним, выставлял волка на лестницу, привязывая к ручке своей двери. Мы не могли ни войти в квартиру, ни выйти, потому что зверь скалился и рычал, топорща холку. Более того, привязь была достаточной длины для того, чтобы волк мог удобно

улежся посередине площадки, перед дверью лифта. И бывал крайне недоволен, если лифтом пользовались. Однажды он, когда кто-то попытался выйти из кабины на нашем этаже, с лязгом зубов бросился на металлическую сетку шахты. На отчаянный крик пассажира Артур отозвался и волчару убрал. Но убрал на недолгое время, и через пять минут пес опять лежал на своем месте.

Здесь можно было бы сказать пару слов о традиционной русской интеллигентской беспомощности. Вспомнив, скажем, Куприна, с его боевым офицером, терявшимся от наглости швейцара. А можно и не вспоминать, лишь констатировав, что никому на площадке, ни нам, ни семейству профессора права из квартиры напротив, ни еще одной одинокой пожилой даме, вдове профессора астрономии, не пришло в голову жаловаться и каким-либо образом приструнить обворожительного балбеса Артура.

Но и без нас расплата за безалаберность этой четы была ужасна. Видно, завистливое провидение не смирилось с тем, что на долю этой пары выпало слишком много безмятежного счастья и полного достатка. Однажды, когда вечером с волком пошла гулять Майя, тогда как обычно это делал муж, песику что-то не понравилось и он вцепился хозяйке в лицо. Дело, быть может, кончилось бы и еще хуже, однако Майя так страшно закричала, что волк, не став ее доедать, дал деру и больше никто никогда о нем ничего не слышал.

Я не видел своими глазами во что превратилось лицо Майи, но слышал душераздирающий ее вой — наверное, в это время она смотрела на себя в зеркало. Через день Артур забрал ее в свою клинику, моя мать

ее, забинтованную и закутанную, провожала. И мужественная Майя нашла в себе силы пошутить, что вот, мол, заодно муж ей бесплатно и пластическую операцию сделает. Стану лучше прежнего, сказала Майя с удивительным присутствием духа и верой в свою звезду. И матушка моя потом жестоко острила, что, мол, Бог даст, такой беды не случится.

Но беда пришла с другой стороны. Когда Майя лежала на операционном столе и Артур уже закончил одну операцию, причем сложную, с наложением многих швов, выяснилось, что у пациентки были повреждены кроме тканей еще и лицевые кости. Непонятно почему — то ли не желая откладывать новую операцию, то ли вняв мольбам жены — Артур продолжал свое дело. И его разбил обширный инфаркт прямо перед столом с телом Майи. И в больницу увезли теперь его самого...

Я, признаюсь, сомневался, нужно ли рассказывать здесь эту печальную историю, и лишь ее несомненная назидательность заставила меня написать эти строки. Ведь тогда, в юности, мне впору было бы задуматься над всем этим. Над тем, как один-единственный неверный шаг, сделанный в момент очарования и любви к миру, может повлечь самые грустные последствия. И выверенная, тщательно выстроенная жизнь двух взрослых людей, мало того что любящих весьма глубоко самих себя, но и друг друга, неведомо отчего вдруг начинает подтачиваться и сыпаться, сначала медленно, почти незаметно, а потом по нарастающей и неостановимо. А ведь это были прочные постройки, и, соединяясь, сливая вместе свой жизненный капитал, оба могли на-

деяться, что возводят еще более основательное здание...

Этим дело не кончилось. Узнав о том, что мама больна, из германской республики прибыла Майина дочь — со многими чемоданами. Впрочем, Майя переоценила сердобольность дочери: оказалось, что возвращаться в ГДР та вовсе не собирается. Это была довольно жесткая девица, а ее матери как раз жесткости и не доставало. Как-то невзначай выяснилось, что начальство в Берлине самое сволочное и что девица собирается замуж. Ужаснувшейся мамаше она заявила не все тебе замуж выходить и сообщила, что с молодым мужем будет жить именно здесь, в квартире Майи, хотя прописана была у бабушки, бывшей Майиной свекрови. Когда Майя пыталась возражать и посылать ее к этой самой бабушке, молодая захватчица парировала в том духе, что вот сама и живи в коммуналке.

А ведь росла хорошей девочкой, всхлипывала Майя, когда заходила к нам, что же делать... Наверное, в этот момент она вспоминала свою Людмилку стоящей на линейке по случаю первого сентября строгой пионеркой в белом фартуке, которой мама к празднику купила шоколадные конфеты. Причины отчаяния были в другом: Майя боялась, что Артур ее бросит. Куда ж с инфарктом он денется, успокаивала ее мать. Майя же плакала и говорила, что столкнулась в последний раз в больнице, где она навещала мужа, с молоденькой медсестрой из его клиники. С цветами, твердила Майя, ты представляешь, Света, с цветами...

Но Артур не бросил ее. Он, оправившись, все еще мучился угрызениями совести, что не смог жену пере-

тянуть как следует, и увез ее на дачу в Голицыно, которую, разводясь, оставил-таки за собой. Они заходили попрощаться. Обворожительная улыбка не сошла с лица Артура и после приступа; он оптимистично утверждал, что на свежем воздухе Майе будет хорошо; говорил, что хоть и ездит теперь тихо, шестьдесят не больше, но все равно до дачи от Москвы не больше часа... И они уехали из этого города, уехали навсегда, чтобы там, в Подмосковье, вести тихую голубиную жизнь двух симпатичных старичков. Майя изредка навещала дочь, безуспешно пытаясь вывезти кое-что из оставшихся дорогих ей вещей, заглядывала к нам. Меня-то, как правило, не бывало дома, но мать рассказывала с ироническим удивлением отцу, что Майя расспрашивала ее, как солить огурцы, и даже поинтересовалась рецептом шарлотки, потому что в этот год так много яблок. И потом, в следующий визит, благодарила Артура очень понравилось.

Как держать стакан

Мать любила вспоминать эту историю, не про Майю, конечно, а про мои школьные приключения, и при случае подавала ее гостям — к чаю. Впрочем, она пересказывала лишь комическую часть, в то время как целиком, особенно учитывая финал, вряд ли история могла казаться ей такой уж забавной. Матушка рассказывала, как понурым осенним утречком, в половине восьмого, на цыпочках, боясь разбудить гостя, она обогнула его раскладушку, подошла к моей кровати и шепнула мне на ухо:

— Пора в школу, сынок.

И так же, тенью, вышла из комнаты.

В ванной были приготовлены для гостя чистые полотенца. На кухне дымился кофе. Всем прочим членам семьи было заказано покинуть свои убежища до срока. Потому что гость был больно важен. А именно — это был завуч моей специальной математической школы, где я обучался тогда уже в десятом выпускном классе, и по совместительству мой следующий после Якобсона учитель литературы.

Фамилия его была Мурзаев. Звали — Александр Владимирович. Накануне мы с ним напились вдрызг дешевым портвейном, которого был закуплен вагон и маленькая тележка. Мы пили вместе не в первый раз, но пьяная идея ехать ночевать в дом моих родителей пришла нам впервые. И таким образом впервые были афишированы перед моей матушкой наши, как нынче выражаются, нештатные отношения.

О чем мы говорили, хлеща красный дрянной портвейн? О литературе, конечно же, о чем же еще! То есть, говорил, как и подобает учителю, он. Школьный учитель Мурзаев состоял у судьбы, ясное дело, будущим ученым-литературоведом — закончил филологический факультет университета и готовился в аспирантуру, — предметом его ненаписанной диссертации был Салтыков-Щедрин. Поэтому, наливая, он всегда приговаривал надо бы, батенька, погодить. Была у него и литературная идея-фикс: он намеревался послать в станицу Вешенская телеграмму, что, мол, один школьный учитель недорого продает подержанный портфель... Как многие его идеи, и эта осталась не воплощена.

Он преподавал у меня еще в восьмом, потом его, переростка, забрали в армию на год, и он уступил место Якобсону: была в те годы такая практика, коли студент, обучаясь без военной кафедры, до учебы не прошел срочной службы. Таким образом, мой девятый класс обошелся без Мурзаева, а в сентябре десятого он вновь появился — неприятно загорелый, омужичившийся, с усами, ржавыми от никотина, — чтобы стать моим учителем, классным руководителем и потом — как-то по-дозрительно быстро — завучем нашей школы.

Сегодня, задним числом, я могу догадываться, что назначили его сверху на ответственный пост не за красивые усы. В армии он вступил в партию — до того был бескомпромиссным либералом, — и скорее всего хорошо себя зарекомендовал. Говоря попросту, сломался, по-лагерному — ссучился. Скорее всего теперь на него была возложена миссия приглядывать за нашим директором, человеком редкого мужества и дерзания, и, на верное, доносить по инстанции. Потому что наша школа на излете шестидесятых стала уже бельмом на глазу высокого образовательного начальства. Как я уже говорил, занятия были построены по принципу вузовских. Программы районо игнорировались. Нам читал диффуры сам Колмогоров, а на школьные лекции Якобсона о поэзии двадцатых годов — о том, как стихи раннего Светлова предвосхитили тридцать седьмой год, — съезжалась вся Москва. А если учесть, что КГБ наступал в те годы Якобсону на пятки — он был другом Даниэля и диссидентом, — то остается лишь поражаться, сколь велика была еще инерция оттепели, коли контора не могла враз пресечь все эти безобразия... Впрочем, школу и

прикрыли вскоре после того, как мой поток получил аттестаты, через год, что ли, в самом начале семидесятых.

Но всего, что касается Мурзаева, я по молодой дурачности, конечно, не понимал, да и понимать не мог. Что говорить, я и теперь не вполне уверен, что он играл какую-то двойную роль, копая под нашего директора, — одни предположения. А уж тогда, глотая учительский портвейн, я, разинув рот, слушал об эзоповом языке Щедрина, которого с тех пор терпеть не могу, о всяких там премудрых то ли карасях, то ли пескарях, а также о том, кто на самом деле сочинял за Шолохова. Нельзя сказать, чтобы после яacobсоновых лекций я оставался совсем уж лопухом, и некоторые поливы Мурзаева казались мне если не банальностью, то и не откровениями вовсе. Но напор, но страсть, но пафос разоблачения, но совместный портвейн! И не было ли распивание алкоголя знаком высшего ко мне доверия? Ведь не мог же я не понимать, что Мурзаев совершает своего рода должностное преступление, по тяжести сравнимое с совращением малолетних. И что именно мне поручено охранять эту нашу с ним сокровенную тайну совместных выпивонов. При желании, в проекции, теперь в его поведении действительно можно подметить ноту совращения, своего рода латентный гомосексуализм... Тем более загадочно, зачем он поперся ночевать в дом моих родителей: быть может, после пережитого в армии он был чуточку не в себе...

Так или иначе, но надо было отправляться в школу, а мой завуч был в беспамятстве. Я теребил его и повторял Александр Владимирович, вставайте, мы опаздываем. Именно комичность этой ситуации и веселила ма-

тушку: не он меня, нерадивого ученика, струнит и загоняет в класс, а я пытаюсь воззвать своего завуча к исполнению им должностных обязанностей.

Рано или поздно он все-таки очухался, прошел в ванную, набывчившись, благоухая перегаром и потом, и кое-как собрался. И для нашего дома все эти запахи, все эти похрюкивания, когда он лил на себя холодную воду, были так же странны, как если бы мой отец привел ночевать автомеханика Михайлова, запив с ним с получки. Матушка перенесла все стоически и, как сказано, не без юмора, а отец так и вовсе не вышел из своего кабинета, не без оснований считая все происходящее форменным безобразием. Но и не желая вступать, как выразились бы нынче, во время прифронтовое, в зону ответственности супруги... Так или иначе, проглотив кофе, давясь и решительно отказавшись от омлета, мучительно мечтая об опохмелке, завуч бросил мне короткое пошли, толком не поблагодарив мою мать, и мы с ним выкатились на осенний холодок.

Меня чуть обидело, помнится, когда, сойдя вместе на нужной автобусной остановке, мы по его требованию разошлись. Так режиссеры, проснувшись в постели актрисы, требуют идти на репетицию в театр разными дорожками. Но не являться же нам было в школу полупьяной парой. Впрочем, уже на второй перемене меня вызвали к завучу. Мурзаев сидел в своем кабинете, за своим столом, из-за которого он распекал ленивцев, велел мне закрыть дверь на ключ. Он был розов — видно, догадался я, в шкафу у него была припрятана бутылочка коньяка: может быть, врачеватель юных душ принимал дары от благодарных родителей. Я повернул

ключ, и он, рассеянно улыбаясь, предложил мне закурить. В сравнении с прошлым вечером, в котором была известная разудалость, сейчас ощущалась натянутость. Курить я отказался. Он сказал равнодушно как хочешь и дернул плечом: была у него такая манера, напоминающая нервный тик.

Значит, молчок, сказал он. И подмигнул, шевельнув усами. Мне стало неприятно. Он что же, считает меня идиотом? Или, хуже того, доносчиком? Он что же, не понимает, что я отлично знаю, какую ответственность несу. Конечно, сказал я. Ну иди, сказал он уже вполне добродушно, даже махнул рукой и посмотрел на шкаф поощрительно, как смотрят на третьего: чего ждешь, наливай. А я пошел, бережно неся нашу с ним тайну, курить в туалет...

С этим курением был до того один случай. Как-то раз меня прихватил за этим делом учитель физкультуры и отправил к завучу, то есть к Мурзаеву, что считалось большим наказанием: в школе завуч пользовался славой мучителя, ученики боялись его даже больше, чем самого директора. Он показательно заорал на меня, но, едва физкультурник покинул кабинет, точно так же, как сегодня, повелел мне запереть дверь и точно, как теперь, предложил сигарету: до того мы уже выпивали с ним пару раз... Эта двойная игра, помнится, давалась мне, отроку открытому до полного прямодушия, с большим моральным трудом. Уже тогда здесь была заложена мина. С одной стороны, мне льстила, конечно, дружба Мурзаева, то, что я был не как все, выделен, обласкан, облачен доверием. С другой — это положение мучило меня: я испытывал чувство вины перед то-

варищами, от которых должен был скрывать все происходящее. А пуще я стыдился самого себя: трудненько в те далекие годы давалась мне ложь, претили скрытность и двоедушие, которые я смутно ощущал, как неудобство и нечистоту...

Но потом все как-то притерлось, грех жаловаться. И посвящена была в inferнальную тайну моих отношений с завучем одна Танечка — что ж, она была единственной моей confidentкой, и я ничего от нее не скрывал. Ну разве что наличие соседки Наташи, несколько перезрелой лаборантки с биологического факультета, — ведь мы жили в университетском доме, — обладательницы умопомрачительной груди... Но это к слову.

Мы сильно выпивали с Мурзаевым осенью и на кончающихся Ленинских горах, и в ротонде в облетевшем Нескучном саду; потом — в зимнем походе, переночевав как-то в лесу у костра в двадцатиградусный мороз; и на его кухне, где гуляли сквозняки. Он снимал эту квартиру в доме на Ленинском, который и посейчас народ упорно называет дом с изотопами. Помню, сидит он в одной майке на табурете, — темно-русые клоки из подмышек, — плотный, коренастый, скуластый — кровь далеких предков-степняков явственно пульсировала в нем, — нервно дергает плечом, страшно шевелит усами, курит одну за другой сигареты Шипка; на кухонном столе недоеденный винегрет из кулинарии, банка изпод только что съеденных сардин в масле, в которой он, попадая мимо пепельницы, тушит окурки. Масло дымит и воняет. Мурзаев одинок и не ухожен. Я вижу это и жалею своего учителя. А он рычит, что выведет подлеца

на чистую воду, но я с грустью понимаю, что нет, не выведет, и подлец получит своего Нобеля...

На время зимних каникул Мурзаеву пришла в голову такая идея: собрать отряд из десятка своих учеников и махнуть на неделю в заволжские леса — нашлись у него какие-то знакомства в тамошнем охотничьем хозяйстве. Мурзаевская команда была сформирована из моих приятелей, любителей Хлебникова, ну и, конечно, взята была и Танечка, подруга, так сказать, атамана. Но — не знаю, было ли это неожиданностью для моего учителя, — к этой группе директор присоединил и другую группу из параллельных классов, которую сопровождала их учительница — и тоже литературы. Это была дочь известного советского поэта-песенника, писдочка, как некогда было принято выражаться, молодая довольно смазливая дамочка с премерзким характером. Нынче-то она давно живет далеко за пределами страны, которая так долго и обильно кормила ее папочку... Думается, от директора она получила задание присматривать за Мурзаевым, и он скорее всего об этом прекрасно знал. Что ж, как говорит наш мудрый каторжный народ, и на хитрую жопу... Короче говоря, наступили для Мурзаева тяжелые дни в снегах Заволжья — дни вынужденной трезвости.

Для него да, но не для нас! Уж на что его ученье было не в тягость — в бою так оказалось совсем хорошо. Сладить с нами никто не мог: ни писдочка, которая вообще была не наша, не сам Мурзаев. Ватагой лыжников мы удирали в лес, пробирались на опушку, все обсыпанные снегом, которым обдавали нас еловые лапы, и шли по целине, по припорошенному жнивью, к око-

лице ближайшего села, кутившегося дымками над белыми крышами. В сельпо продавались рыбацкие сапоги, двухтомник Леонида Андреева, синька, пряники, серая лапша и солнцедар. Мы покупали рюкзак этого дикарского напитка, буханку черного и несколько банок частичка в томате, набирали беломора и уходили обратно в лес. Там, точно в согласии с уроками моего учителя, вытаптывалась поляночка, потом лыжи снимались и втыкались в сугробы так, что получался своего рода часток. Разводился костер, и начиналась пьянка... Стоит ли говорить, что приходили мы в расположение отряда в самом развеселом виде.

До поры до времени Мурзаев, как мог, прикрывал нас. Он орал, выносил какие-то наказания, строил и раздавал подзатыльники, и все под взглядом своей коллеги, которая молчала, не вмешиваясь, но наблюдала пристально. Но что-то потешное чувствовалось в этом его гневе, напускное, будто он украдкой усмехался в усы, — и чувствовалось не только мною, но и моими приятелями. Будто бы он тайно поощрял нас, едва ли не гордясь своими ученичками: мол, много обещают эти профессорские по преимуществу детки, которых папочки и мамочки прочат на мехмат... Странно, что он не чувствовал, на какую зыбкую почву ступает. Ведь чем распекать нас, он должен был самым решительным образом пресечь эту тайно поощряемую им анархию.

Юношам в таком возрасте, любой учитель знает, нельзя класть палец в рот. Мы распоясывались все больше. И вот, наконец, на третий или четвертый наш поход в село мы так перепились, что заблудились. Рассказывать об этом муторно, всякий знает этот гаденький

холодок страха, который подкатывает к сердцу, когда уж смеркается, а такой ласковый еще утром, пронизанный низким солнцем снежный лес вдруг оказывается зловеще лукавым и начинает водить вас за нос; и в какой-то момент вы понимаете, что последние полтора часа усилий были напрасны — вы вернулись на то же место, и вот ваша солнцедарная пустая посуда. И вот банки из-под частика... Нашел нас егерь с лайкой, когда, обессиленные, мы сбились, как собаки, тесной кучей, а Танечка ткнулась мне в шею холодным носиком и дрожала, хоть я и прижимал ее к себе тесно-тесно... После этого Мурзаеву не оставалось ничего другого, как по решительному требованию писдочки отправить троих заводил в Москву — списать за пьянку. И меня, к которому она питала особую неприязнь, в первую очередь, разумеется.

На следующее же утро Мурзаев нас отконвоировал в Горький, на железнодорожный вокзал. Не буду описывать расставание с Танечкой: она порывалась со мной, ее не отпустили, она плакала, а ведь она плакала так редко, моя храбрая девочка... Город был покрыт какой-то гарью, быть может, недавно был артобстрел, черные сугробы, темные люди, вокзал заплеван и загажен, конечно же, туалет. Здесь, в ожидании поезда, Мурзаев допустил еще одну, ставшую для него роковой, ошибку: он не умел пить один, но не умел и не пить так долго, поэтому купил пару бутылок водки и распил с нами на четверых.

Чуткими юными носами мои приятели уловили, что дело здесь нечисто: уж очень слаженно и привычно мы с Мурзаевым разливали. И если я, повязанный клятвой

верности учителю, всегда во время наших возлияний вел себя сдержанно, то мои дружки, опьяненные вседозволенностью, принялись хлопать своего завуча по плечу и едва ли не переходить на ты. Конечно, он резко пресекал такого рода фамильярности, одергивал, но куда там — приятели, не имея моей школы, быстро осовели, и мы едва затолкнули их в общий вагон...

В Москве меня ждала неожиданность: моя матушка уже все знала. Позже выяснилось, что, пока Мурзаев пил с нами водку на обшарпанном горьковском вокзале, писдочка дала подробную телеграмму директору, что, мол, такого-то и такого-то из-за систематического пьянства отправили вон из отряда. Директор обзвонил родителей всех четверых, и начался нешуточный переполох. Во всем этом вот что было самым тяжелым: директор воспринял происшедшее как самое возмутительное событие и принял решение всех нас из школы исключить. Это была катастрофа: за полгода до выпускных и вступительных экзаменов быть исключенными из школы означало с большой вероятностью получение плохого аттестата, как следствие — непоступление в институт, а там армия, а там большая жизнь... Короче, родители были в ужасе. И тут моя матушка, ничего, разумеется, мне не сказав, отправилась выручать свое чадо. А именно — она рассказала директору о том, как принимала у себя дома пьяного Мурзаева — на пару с пьяным же его ученичком.

Директор не поверил. Потому что такого не могло быть в его педагогическом коллективе. То есть не могло быть никогда. В принципе, исключено. И тут сработала страшная ошибка Мурзаева: мои приятели от страха

рассказали о выпивоне на вокзале, и еще три мамыши присоединились к моей... Под страшным грузом этих свидетельств недоверие директора пало. Думаю, для него это был удар немалой силы...

Здесь в полную меру набирает обороты тема предательства — причем обоюдоострая. С одной стороны предала Мурзаева моя матушка, то есть — я. С другой стороны — меня предал сам Мурзаев, так много со мной выпивший и меня же списавший за пьянку. Это был нераспутываемый, непосильный для неокрепшей души, клубок. Со своей матерью-предательницей я перестал разговаривать после жуткой сцены, что я ей закатил. Я не мог сединить воедино, как могла она одной рукой угощать Мурзаева завтраком, а другой — написать заявление: директор потребовал изложить все письменно. Хуже всего, что Мурзаев в предательстве обвинил именно меня. И подавал дело так, что он был за то, чтобы меня исключили из школы, потому что в школе не место таким ренегатам. Позже выяснилось, что он, не зная еще о заявлении моей матери, написал директору объяснительную записку, содержащую форменный донос уже на меня... Но как не запутано было дело, моего здравого смысла хватило на то, чтобы оценить Мурзаева по достоинству: ведь дело в конце концов встало так — в школе оставаться или ему, или мне.

По всему выходило, что ему оставаться нужнее. Он, кстати, пытался со мной объясняться на лету, на ступеньках лестницы, не глядя в глаза. Он обронил, что от исхода дела зависит его поступление в аспирантуру. Он злобно сказал, что не хватало только, чтобы он получил

выговор по партийной линии. И что, мол, твоя мать — хорошо не прибавил сволочь — должна забрать обратно свой паршивый донос. Он пару раз пытался залучить меня в свой кабинет, но под какими-то предложениями я туда не пошел... И он сдал. Явно испугался, и его прокурорные усы смотрелись как-то жалко, так — желтоватой шерсткой. Он то злился, то лебезил. Он был мне неприятен, хотя я и не мог все точно расставить по полочкам. Помогла мне, как всегда, Татьяна: зная всю предысторию, она задала мне пару спокойных риторических вопросов. В ответ на все я мог разве что кивнуть и целиком согласиться. Так что ж ты нервничаешь, сказала она, ты ни в чем не виноват.

Так ли это было, я не знал. Я действительно нарушал режим на каникулах, более того — верховодил и подбивал моих приятелей на пьянки, из-за чего и они рисковали теперь вылететь из школы. А главное, главное, я не удержал свою мать, чем не оправдал доверия учителя — пусть он и предал меня, но ведь и я таким образом нарушил обет и не оправдал... Пока я рефлексировал, воевал с матушкой, утешался в объятиях Танечки, дело решилось, и Мурзаеву пришлось уйти из школы.

Он вызвал меня к себе на квартиру — для последнего разговора. Я очень не хотел туда идти, но я пошел. Мы сидели на кухне. Столовый набор был прежний: выпивка и немудрящая закуска. Только вместо молдавского портвейна была водка Московская, вместо частичка в масле — килька в томате. И сам Мурзаев был не в майке, а в рубашке, что отчасти свидетельствовало о серьезности момента. Начал он с ноты педсоветовской,

если можно так выразиться, но, поскольку я молчал и даже ухмылялся в некоторых, особенно пафосных местах его обличительной речи, он оборвался на полуслове и налил нам по полстакана водки.

Вскоре он надрызгался. Нет, не заплакал, как можно было бы ожидать, видя, как жалко дергались его усы, как понуро клонилась к грязному столу голова. Он только дергал плечом нервически и повторял: что ты наделал, ты хоть понимаешь, что ты наделал!

Как ни странно, на этот раз жалко мне его не было. Потому что я не понимал. Я, подбодренный Танечкой и вразумленный матерью, не чувствовал за собой вины. Во мне зрела тихая злость. Он ведь хотел исключить меня из школы, но проиграл все-таки он, а я был оставлен доучиваться в своей родной школе, потом поступать в университет, у меня была Танечка и длинная прекрасная, как нам кажется в юности, жизнь впереди, полная одних праздников и подарков. У Мурзаева же, если судить по его словам, впереди не было ничего. Он уже никогда не станет директором школы. Да что там, он не будет и завучем в обозримом будущем. И наш директор не напишет ему характеристику для аспирантуры. И унылый щедринский пескарь не будет описан с академической точки зрения, чтобы стать героем очередной кандидатской диссертации. И не сгорит в адском огне станица Вешенская, а ее знаменитый обитатель получит еще одну звезду Героя...

Быть может, я был к нему несправедлив. В конце концов он ведь хотел меня научить чему-то: Щедрину, и как разводить костер в снежном лесу, и как разливать, чтобы бутылка поделилась строго поровну, и как крепко

держат стакан... Наверное, он хотел мне добра и относился ко мне не без нежной заботы. Я вспомнил, как трогательно он застегивал мой спальник, едва держась на ногах, перед тем как мы, пьяные, улеглись рядом у догорающего елового костра... Пока я витал в этих сладких воспоминаниях, он бросился на меня.

Он успел перед этим захватить мне в глаз, удар был не сильный, но глаз тут же опух. Я не успел ему ответить, потому что он сгробастал меня и опрокинул на пол. Он принялся меня душить, и любой гомосексуалист сказал бы, что эта была сублимация полового акта. Я это чувствовал, и это привело меня в ярость. Мы катались по грязной тесной кухне, сшибая табуретки. Он визжал и даже кусался — кажется, у него началась истерика. Я, изловчившись, стукнул пару раз его кулаком по затылку, и он вдруг обмяк, затих и отвалился на бок. Я поднялся, мне показалось, что он спит. Потом я испугался — уж не убил ли я его? Наклонился, но нет, он дышал, правда как-то прерывисто, будто внутренне всхлипывая... Я вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь.

Я шел по зимнему, переметаемому вдоль и поперек метелью, слишком широкому для обычного человеческого города проспекту Ломоносова, мимо кинотеатра Прогресс — в сторону университета. Глаз болел, надувался, мне казалось, будто он светит в темноте. Как ни странно, но мне было весело. Я не знал еще по молодости, что такое радость перевернутой страницы. Я знал только, что пить отныне я буду только с верными друзьями и славными, веселыми и смелыми, подружками. Мы будем закусывать не частичком в томате, но шашлыками по-карски, цыплятами табака и судаком —

соус польский. Мы, взявшись за руки, пойдём по зелёной, только что омытой, благоухающей сиренью улице жизни, и вдали кто-то будет играть Каприз Паганини. А навстречу нам вынесут каждому по венку из лавра. Потому что мы все как один станем талантливой и прославимся. А никакого Мурзаева я больше никогда не увижу.

Как подтвердить аттестат

Все случилось не совсем так, как грезились когда-то. Давным-давно, потому что прошло много времени: тогда была зима, теперь стало лето. Тогда, бредя после драки с завучем по зимнему Ломоносовскому проспекту, я предвкушал грядущую вольную молодость, полную горячей любви и бурной весны. Кое-что подтвердилось: ранним июнем в школе действительно закончились выпускные экзамены, и взрослые радостно вытолкнули нас в широкую дверь прекрасной самостоятельной жизни, где, как мы полагали, нас ждут одни яркие игрушки, не ведая ещё, какую свинью нам подложили. Однако, выдав нам эти самые удостоверения в зрелости, нам выписали льстивый и лукавый аванс. Ведь мы были всего лишь небольшим стадом молодых вертячих барашков, причем с хорошими шансами до смерти баранами и остаться. Мы понимали, конечно, что оказались на свободе, но не представляли себе, что будем отныне предоставлены самим себе. Станем сиротами, хоть и при живых родителях. И за эту самую аттестованную зрелость уже совсем скоро предстоит платить. Люди странным образом склонны радоваться переменам

участи. При переводе в другую тюремную камеру или поступая на службу, выходя замуж и рожая детей, или эмигрируя, или даже уходя на войну на вполне вероятную смерть, они испытывают не только опаску, но — возбуждение и подъем от надежды на новое и лучшее. И только спустя жизнь, когда вот-вот все будет кончено, осознают, что нет ничего слаще безмятежной старости, даже отягощенной не слишком утомительными болезнями, старости, когда впереди осталась одна-единственная перемена...

Тогда нам было не до сомнительной доморощенной философии. В день выпускного вечера, когда нам вручали аттестаты, все с цепи сорвались, включая молоденьких учительниц: ведь учебный год кончился и до следующей осени они больше ни за что не отвечали. Я заблаговременно поссорился с Танечкой, переняв у нее самой этот прием: коли она хотела провести денек без меня, то устраивала незначительную размолвку. Дело в том, что у меня в десятом классе был платонический флирт с молоденькой, прозрачной и конфузливой блондинкой, учительницей биологии, которая пришла к нам сразу после института, и еще с учительницей математики, незамужней крашеной шатенкой лет за тридцать с широким задом, курносой и с маленькими быстрыми темными глазами. Но и та и другая интрижка, если можно так назвать томные взгляды и анонимные записочки, были затеяны на спор с моим школьным приятелем Игорьком Бузукиным из класса Д, сыном декана факультета математики педагогического института. Это был кряжистый, плотный, широкоскулый малый — нахальный и еще более физически развитый, чем я, и

никто не дал бы ему тогдашних семнадцати лет. Мы, оба заводилы, должны были бы быть в нашей параллели соперниками, но предпочли дружеский пакт, что было возможно лишь по разнице темпераментов: насколько я был парень подвижный, настолько Бузукин основательный. Но склонны к хулиганству мы были в равной мере.

Помнится, именно с Бузукиным мы хором читали стихи Маяковского к празднованию дня революции на первом этаже универсама Москва, собирая при этом деньги за декламацию — ну как странствующие комедианты. Деньги нам, как ни странно, недоверчивые, но наивные спекулянты-провинциалы давали, полагая, должно быть, что в столице так принято. Вокруг нас уже столпились слушатели, Игорек рассовывал пол карманам мятые рубли, пока я декламировал Левый марш с несколько издевательским пафосом, и спугнул нас только поганый голосок какой-то пенсионерки из задних рядов, из партийных, видать, за Маяковского — и деньги берут... Мы сделали ретираду, на пиво с креветками хватило, но, разумеется, не жажда наживы вела нас, а только страсть к сомнительным приключениям. Так что наш спор по части того, кто первым соблазнит учительницу, тоже был вполне спортивного и довольно цинического характера. Выпускной вечер для этих целей был не только самым подходящим временем, но и, пожалуй, последним шансом, поскольку дальше, в широкой жизни, нас ждали — мы твердо верили в это — куда более заманчивые перспективы, чем одноклассницы с математическим дарованием и школьные учительницы в домашних кофточках: дамы в соболях и ба-

лерины. Впрочем, танцовщицы привлекали скорее Бузукина, а я уж был захвачен тогда возможностью интрижки по вокальной части, если не с цыганкой, то хоть с певичкой из ресторана Дружба, ближайшего к школе: меня привлекали, конечно, не столько ее перезрелые прелести, но сама атмосфера кабацкого угара и песенки, что она пела залихватски и с хрипотцой:

Ах, мамочка, на саночках

Каталась я с другим...

Пить портвейн начали задолго на начала вечера, в туалете из горла. Конечно, в другое время мы уходили распивать беззаконный алкоголь подальше от школы, хоть за гаражи, нынче же нам все было позволено, мы выпали из-под юрисдикции дирекции, и остановить нас на пути невинных, в общем-то, безобразий могла разве что милиция, но и та в этот день относилась к дуракам-шалопаям снисходительно, понимая, что, продолжая в том же духе, они скоро все равно так или иначе, не сегодня, так завтра, окажутся у нее в руках. Продолжили в тамбуре актового зала, который на этот вечер был объявлен бальным. Потом пили уже в самом зале за кулисами из одного липкого граненого стакана. На сцене играла какая-то самодеятельная поп-группа, тогда этот жанр вегетариански обозначался аббревиатурой ВИА. Я танцевал твист в кружочек с одноклассницами, но, хоть и был возбужден, краем глаза заметил, что Бузукин чинно и грузно, облапив ее спинку, ведет в танце биологиню. Чтобы не проиграть пари, мне нужно бы было найти математичку, но пока я ее искал, пару раз столкнувшись с Танечкой, которая делала вид, что не замечает меня, и поджимала губы, — что ж, пусть, мне не до

нее, я — на охоте, на настоящей мужской охоте, однако ж сердце мое нехорошо сжалось, — я заблудился в толпе танцующих и, поплутав, вдруг обнаружил коварную учительцу алгебры и тригонометрии в объятиях того же вездесущего Игорька. Тогда я принялся искать освободившуюся биологиню, но и она уже танцевала с учителем физкультуры. Она слушала его и отрицательно мотала головой, склоненной набок, а заметив меня, нежно улыбнулась, сдунула от глаз легкую светлую прядь и через одно па оказалась ко мне спиной. Кажется, я проигрывал по всем пунктам. Я опять отправился за кулисы и нашел наш шкафчик, где было припрятано вино. Странная встреча ожидала меня здесь.

Спиной к нашему заветному тайнику стояла одна немолодая девушка, лет девятнадцати, с фигурой подающей волейболистки и с каким-то неряшливым лицом. Она исполняла в нашей либеральной школе странную должность — освобожденного комсомольского секретаря, и с ней никто не дружил. Тем более я, никогда в комсомоле не состоявший. В школе у нее была комнатка рядом с медпунктом на втором этаже, которой, кажется, она никогда не покидала. Все сторонились ее именно в силу неясности ее функций, побаивались на всякий случай, а быть застуканным на выходе из этой комнаты означало попасть под молчаливый бойкот. На миг я вообразил, что она выследила наш шкафчик, чтобы донести, пойдут глупые выговоры и нудные неприятности, но скоро сообразил, что ведь нынче — праздник и мне все можно, и попытался грубовато эту самую секретаршу отодвинуть от дверцы. И тут она сказала можно, я тоже выпью. Я, хоть и был поражен не-

сусветностью этого вопроса из уст комсомольской стучачки, тут же разглядел, что она одета празднично, что на ней бордовые туфли, а лицо раскрашено так, что, встретясь мы в другом месте, я бы ее не узнал. Давай, согласился я. И мы выпили — из одного стакана.

Потом, помнится, я оказался за барабанной установкой. Поскольку и сам тогда участвовал в самодеятельном ВИА, а именно — был автором стихотворных песенных текстов, и моим шлягером были такие самонадеянные строки, отражавшие насквозь наивное мужское представление о собственной мнимой независимости:

Сколько парня не кори,
Сколько волка не корми,
Все равно он снова смотрит в лес...
Рок-н-рол, не иначе.

Музыканты не горели желанием подпускать меня к установке, я прорвался, бил по барабану, играл по моему впечатлению, но никак не мог справиться с двумя тарелками на одном стержне, которые надо было приводить в состояние дребезга педалью, приспособленной под левую ногу. Тарелки хлопали не в такт, и вскоре я был смещен с поста барабанщика. Спеть хором в микрофон нам с Игорьком музыканты тоже не дали, тогда мы выпили еще и бросили клич, что пора всем отправляться на Ленинские горы.

Наши учительницы, с которыми и я вслед за Бузукиным успел-таки протанцевать нежные танцы с прижиманием, в школьных стенах не пили, хоть мы и предлагали, но тоже вызвались идти на смотровую площадку, благо это было сравнительно недалеко от Ленинско-

го проспекта, на котором наша школа располагалась. Сладкого жгучего портвейна производства республики Азербайджан был закуплен мешок, да и у учительниц оказалось припасено сухонькое.

На смотровой площадке нас набралось десятка два человек. Внизу светился круг лужниковского коллизея, слева во мгле едва угадывался силуэт Новодевичьего монастыря — черная колокольня на темном небе, поодаль то тут то там мигали красные сигнальные огни на сталинских высотках, и это при том, что какое-либо передвижение летательных аппаратов над столицей социализма было запрещено, моргали многие огоньки — цепочками вдоль проспектов и вразброс, с лакунами кромешной темноты там, где не ездили партийные Волги, а жили простые люди. Надо было веселиться, но вот незадача — долгому ожиданию этого дня, единственного в жизни, как говаривали взрослые, никак не соответствовала банальность сегодняшнего праздника и обыденность развлечений. Недоставало подъема, салюта, скандала и слез. Айда, выкрикнул кто-то, — уж не мы ли хором с Бузукиным? — и все, как замороженные, повлеклись, покатались вниз, и там, в черных кустарниках, все продолжали передавать бутылки по кругу. То тут, то там светлели, как подвенечные, платья выпускниц, а кое-где еще белели кусты отцветающей сирени. Мне бы сейчас быть рядом с Танечкой, но я потерял ее в вихре бездумного праздника, который с приближением зари стал казаться все более пресным и омраченным предчувствием завтрашней жизни и одиночества... Потом Бузукин утверждал, что там, в ущельях Ленинских гор, в ту ночь он соблазнил-таки математичку, хотя скорее,

если это было правдой, следовало бы сказать иначе: это она догнала-таки своего самонадеянного ученичка. А биологиня якобы сильно блевала. Тоже может быть. Потому что в педагогическом институте, где она обучалась азам взрослой жизни, было слишком много домашних девушек и, наверное, даже в общежитии, даже на последнем курсе там не мешали такое количество сухого молдавского Ркацетели с липким закавказским Айгешатом и приторным крепленным 777. Короче, Игорек обвел меня вокруг пальца, заставил обидеть Танечку, наверняка этому радуясь, потому что наша любовь, я всегда подозревал, очень раздражала его. Однако все это сообразить в ту ночь я уж не мог, потому что в какой-то момент впал в состояние хоть и активное, но бессознательное. Помню лишь, как карабкался по крутому косогору туда, где наверху на фоне уже светлеющего неба рисовался силуэт церквушки, будто спасаясь от погони, а потом случился провал и я уж ничего не помнил...

Первое, что я почувствовал, очнувшись от зябкой свежести, был душный пряный запах кашки и горький — свежескошенной молодой травы. По лицу ползали букашки, и я чихнул от набившейся в нос цветочной пыльцы. С удивлением почувствовав, что лежу не один, кто-то шевелится рядом, я увидел впереди пробивающийся сквозь стебли и соцветия утренний свет. Поворочавшись и сгруппировавшись, я выпал из стога, как из чрева, в свежий и яркий новый мир, в котором больше не было расписания уроков. Я сидел на широком свежескошенном газоне посреди все того же Ломоносовского проспекта. По тротуару равнодушно шли студенты

и спешили преподаватели университета и служащие — на занятия, и было весело и бесшабашно мне, никуда больше не спешащему, смотреть на их понурую сосредоточенность. К тому же прямо передо мной стояла высокая женщина в бордовых туфлях. Подняв глаза, я узнал нашу комсомольскую богиню, обирающую с мятых кофты и юбки приставшие зеленые соломинки и щурящуюся на яркое уже раннее солнце. Косметика растеклась по ее опухшему, как у разбуженного ребенка, некрасивому лицу. Она улыбалась смущенно и горделиво. Я вскочил на ноги, почувствовав себя удачливым мужчиной. Я ощущал зрелую победоносность, — уже хотя бы потому, что до сих пор ни разу самовольно не ночевал вне дома, и как-то вскользь понял, что Танечки у меня больше не будет.

Однако все портил привкус неловкости, оттого, что я совсем не помнил, как оказался в этом самом стогу и откуда взялась эта одинокая неюная девушка, которую я едва знал по имени. Что ж, комсомол мне все-таки дал путевку в жизнь, хоть я его и не просил. И уж совсем неприятно стало, когда она принялась застенчиво обирать листья зеленой травы и с моего наряда, а я увидел, какие у нее крупные руки — красные от утренней прохлады. Я отстранился, отряхнулся и вынул пук сена из шевелюры. Потом оглядел себя — новые штаны недавно приобретенного костюма были на коленках в разводах глины. И тут мне мучительно захотелось убежать. Извини меня, так получилось, прошептала она, собираясь, кажется, меня поцеловать. И спросила, будто почувствовав всю мою нетерпеливую жажду побега: тебе на метро?

— Ничего, ничего, — как мог бодро отвечал я, пятясь, — мне здесь рядом... мне пешком... — И — побежал вприпрыжку.

Я никогда больше ее не видел. А понял, за что она извинялась, лишь когда достиг, наконец, ванной комнаты, стараясь разминуться с домашними. Вся моя шея была в длинных бесформенных кровоподтеках от засосов, в них же была вся грудь рядом с сосками, и я испытал странное чувство томления и брезгливости — к самому себе. Я замотал шею полотенцем, потому что меньше всего хотел, чтобы эти следы любви заметил отец, и в комнате достал из шкафа водолазку с закрытым высоким воротом. И ходил в ней целую неделю, хотя сделалось жарко, и пришло лето, и вплотную подступило неведомое зрелое будущее. Всклень, как говорят нынче члены Российского союза писателей из тех, кто в бессонницу читает словарь датчанина Даля в редакции француза Бодуэна де Куртенэ, а на каникулах где-нибудь в Тверской губернии обучает живаго великорусского языка одичалые деревенские массы.

Как стоять в очередях

День моего зачисления в университет стал знаменательным для всего нашего района. Но не моим успехом, конечно, в котором была солидная доля усилий отца: прямо напротив нашего дома в тот год в первый день осени сдали в строй весьма современный по тем временам комплекс — гостиницу Университетская с общедоступным рестораном при нем, где играли громкую музыку и были танцы, широкоформатный киноте-

атр Литва и иноземный магазин Балатон. И не спрашивайте меня, какое отношение имеет венгерское озеро к маленькой прибалтийской республике, не знаю.

В этой самой Литве, как положено, показывали обычную муть, и забавна ее судьба: уж не в наказание ли за грехи после крушения кинопроката там сделали мебельный магазин, а потом открыли Центр для паломников, жаждущих посетить Святую землю — во искупление, наверное. Но нам важен заграничный магазин. В нем, как в закрытой Березке, где отовариться — словечко как раз тех лет — можно было только на чеки серии Д с розовой полосой, какие платили редким советским счастливым гражданам, трудившимся за рубежом, вместо заработанной ими валюты, — стали продавать много заграничных пищевых и галантерейных товаров. Разумеется, к новому магазину образовывались завивавшиеся очереди, состоящие из граждан, жаждавших импортного ширпотреба. Шутка ли: кроме редкостных кондитерских изделий, итальянского сухого зеленоватого Мартини и виски Club-99 венгерского изготовления здесь можно было купить такие раритеты, как настоящий шотландский шерстяной плед индийского производства, комплект льняного постельного белья — такие в те простецкие времена, когда не замечали двусмысленностей, продавали только в специальных магазинах для новобрачных по предъявлению приглашения из ЗАГСа, официального извещения о грядущей дате заключения брака, — растворимый бразильский кофе и много других несбыточных вещей, включая душно-сладкие египетские духи и чешскую косметику, которую

до того давали лишь в специальном магазине Власта на Ленинском.

Очереди и безо всяких венгерских ухищрений были повсеместны, потому что как раз в те годы относительное хрущевское продуктовое благополучие кончилось,— впрочем, и при нем был год, когда пшеничную муку распределяли по месту жительства по талонам. Исчезли икра и осетрина, ветчина, за ней — копченая колбаса, не стало маслин и ананасов, потом шпрот... Если бы этот перечень тогда привели человеку из провинции, он просто не понял бы — о чем идет речь. Потому что в провинции в продуктовых магазинах не знали не только таких наименований, но и ровным счетом никаких, продавался лишь зеленый зельц не приводимой в приличном тексте консистенции, а за молоком натуральным очереди стояли с раннего темного утра, и отпускали его только по свидетельству о рождении ребенка, причем дитя должно было быть не старше одного года — один литровый половник на длинной ручке на одну справку...

Новоиспеченный волшебный магазин изменил не только нашу топографию, но и повлиял на статус здешних обитателей, заметно прибавив им самоуважения — как мне статус университетского студента. Действительно, наш еще недавно накрытый строительной грязью по уши район дальней Москвы на глазах становился, что называется, престижным. Исчезли молочницы, еще недавно ходившие по городским домам с флягами парного молока; циркулировали слухи, что на месте ближайшего села, того самого Раменского, вконец обнищавшего и развалившегося, будут строить здания посольств

разных заграничных стран народной демократии. Село действительно, наконец, расселили, и слухи действительно оправдались — посольства построили, правда, много позже. Если бы дело происходило в нынешние времена купли-продажи недвижимости, то местные жители знали бы, что их заваливающие квартиры стали расти в цене, да и селяне сообразили бы, что земля, закрепленная за их развалюхами-избами, тоже кое-чего стоит. Но это были наивные времена тотальной государственной собственности, и полагать, что нечто кому-то одному может принадлежать, было сродни предположению, что тюремные нары есть собственность заключенного, раз он на них спит.

Однако некие смутные признаки товарно-денежных отношений уже можно было при желании рассмотреть. Нет, квартиру, скажем, законно продать было нельзя, но можно было обменять с доплатой. И о повышении статуса нашего района уже сигнализировали объявления об обмене жилой площади. Я вычитал в газете, что за нашу плохонькую трехкомнатную квартиру мы можем получить четырехкомнатную — плюс маленькая темная кладовка — в сталинском доме на Колхозной площади и таким образом приблизиться к вожделенному для меня центру города, о потере которого я не переставал горевать. Когда я показал объявление матери, она только пожала плечами. И сказала ты же знаешь его характер, он от своего университета никуда не поедет...

Он — это отец, который и впрямь был упрям. К тому же это упрямство носило своеобразный характер: он никогда не выкладывал свои аргументы, так что спорить

с ним оказывалось бессмысленно. Можно было только безответно взывать ну почему? — он в лучшем случае лишь загадочно улыбался, в худшем — хлопал дверью кабинета и запирался на ключ. В этот раз он пробормотал что-то в том духе, что привык ходить на кафедру пешком. И этот аргумент показался мне верхом самодурства. Оставалось лишь утешаться тем, что такого магазина, как Балатон, на Колхозной не было и, можно было надеяться, никогда не будет.

Отец безо всяких деклараций сторонился всего, что нарушало какой-никакой порядок тогдашней жизни, но в то же время чурался споров, препирательств, качания прав. Хотя в известных случаях мог быть невероятно упорен, если чувствовал свою правоту, это должны были быть, так сказать, вещи принципиальные, а не мелочи быта. Так вот, однажды мы с ним решили выбрать подарок матери к дню ее рождения и отправились в этот самый Балатон. Как сказано, там торговали дефицитной продукцией, и очереди к прилавкам состояли по большей части из спекулянтов, которые чуть не ночевали в этом магазине, поскольку за один раз товаров давали с ограничениями — скажем, два индийских пледа в одни руки. А мы как раз нацелились на этот самый индийско-шотландский клетчатый мягкий плед, аппетитно упакованный в целлофан с наклеенной посреди парадной биркой, так что сам необычный дизайн на фоне советского отсутствия товарного вида каких бы то ни было предметов потребления уже казался праздничным и подарочным.

Мы стояли долго, очень долго. Несправедливо долго, как мне казалось, поскольку во мне, ребенке от-

тепели, матерью и школой были заложены основы интеллигентского либерализма, причудливым образом уживавшиеся со снобизмом и чувством классового превосходства по отношению к толпе. Я не подозревал тогда, что подобное отношение к окружающему миру не только не аристократично, но и в чисто прагматическом смысле весьма непродуктивно. Тем более в очереди, разгоряченной азартом добычи и потребления. Я и сам перенагревался от нетерпения и абсурдности происходящего и закипал. Из таких перегревшихся и случаются добровольцы в борьбе за правильность отпуска товара и борцы за справедливость мира в широком смысле. А если учесть, что такие люди отчего-то считают, что им положено и дозволено больше, чем другим, то, как правило, они сами и становятся первыми, кто отстаиваемые ими права и преступает.

К тому же меня бесило покорное поведение отца. Он, человек вспыльчивый, созерцал происходящее с таким благодушием, будто не был советским человеком, но чудачком-джентльменом, путешествующим в компании мистера Пиквика. Можно было подумать, что творящееся вокруг отчасти забавляет его. Пару раз он даже делал поползновения помочь одной или другой распаренной спекулянтке, у которой трофеи уже вываливались из сумок и рук, они же шарахались от него в страхе за добытое. Мне было стыдно, мне начинало казаться, что мой отец настолько не от мира сего, что, кажется, не понимает происходящего. Потом мне пришла в голову еще более неожиданная мысль: я подумал, что он не то чтобы не понимает правил игры и борьбы, но в них не верит. То есть выходило, что я при всей своей фанабе-

рии был гораздо более советским человеком, чем он. Хотя прожил при советской власти на двадцать семь лет меньше. Потому что не верить в очередь было в те годы и не либерализмом вовсе, а настоящим кощунством и покушением на основы мироустройства.

Много позже, когда я сам оказался на Западе, я понял, отчего отец был так философичен и отстранен: ведь он-то к тому времени уже имел опыт заграничных путешествий и цивилизованного шопинга. И дело не в том, что там не бывает очередей, в Америке, скажем, мне тоже приходилось стоять в линиях: в банке или на почте. Просто отличие русской очереди от западной — в ее, так сказать, телесности. Недаром она описывается как давка, когда люди напирают один на другого, — расхожее советское выражение давиться в очередях никак не случайно. Я далек от того, чтобы видеть в этом сексуальную подоплеку, хотя давка разнополых людей в транспорте, скажем, эротически возбуждает молодежь. Скорее здесь все-таки важнее психологический элемент — паники: не хватит, закроется, не удастся занять место. При полном отсутствии того, что можно было бы назвать запретом на тактильный контакт. То есть несоблюдение отдельности человека, что в каком-то смысле и есть коммунизм. Так что очередь можно считать реализованной метафорой, и в этом смысле нигилизм отца, который он не смог скрыть в процессе добывания плета, был значительно более глубоким проявлением внутреннего противостояния, чем, скажем, декларативные интеллигентски-либеральные клики матери.

Между тем заветное было близко — мы придвигались. И, разумеется, чем ближе был прилавок, тем бо-

лее накалялась очередь. Она уже не гудела, а кипела, наземь летели пуговицы, и трещали швы. Отдельные реплики сливались в один гневный крик, и было ясно, что, даже терпеливо и честно простояв в очереди чуть не два часа, без боя плета не взять. Что ж, я был пловец и альпинист, дворово-пионерский опыт тоже не проходит даром, к тому ж переполнен куражом и готовностью применить полученные в процессе жизни боевые навыки — недаром ежеутренне мне приходилось штурмом брать автобус, чтобы доехать до факультета и попасть на занятия. И я — ринулся. Здесь, близко к кассе и дефициту, уже не соблюдались правила борьбы и исчезали различия между полами. Бойцы дрались не понарошку, разве что не вцепляясь ногтями друг другу в лица. Единый бабий вой ты здесь не стояла переполнял небольшое и душное помещение. Это была последняя отчаянная попытка слабых апеллировать к порядку, потому что более сильные молча и сжав зубы шли к цели напролом... Когда я выкинул вбок одну за другой двух отчаянно сопротивлявшихся беззаконных теток и был уже у цели, я вспомнил, что деньги были у отца. Папа, деньги, деньги, папа завопил я, но никто мне не ответил. Я обернулся, отца рядом не было. Выбраться из очереди обратно тоже оказалось делом нелегким. Навероятно обозленный, я вышел из магазина на улицу, но и здесь его не увидел.

И тут я вспомнил, как несколько дней тому назад отец пригласил меня отобедать в университетской профессорской столовой. Это само по себе было для него довольно необычно, баловство никак не было коньком его воспитания, и я воспринял приглашение как знак

поощрения, своего рода аванс при моем вступлении на студенческую стезю. В столовую тоже стояла очередь, правда, недлинная, в которую мы и встали, что показалось мне несколько странным. Когда мы уже были первыми у самых стеклянных дверей, а один из столиков освободился, отец шагнул вперед. Но столовая баба в белом халате, распорядившаяся посадкой, со словами куда прешь, не видишь — профессоры идут буквально толкнула его в грудь, и какой-то замусоленный важный тип прошествовал мимо нас и невозмутимо уселся за стол, который по праву был наш. Оказалось, мы стояли в общей очереди, профессорам же полагалась зеленая улица к корму, и я испытал такое чувство обиды за отца и за себя, такое чувство нашего общего социального унижения, что покраснел и засопел. Но отец посмотрел на меня и спокойно не без иронии произнес но ведь ты пока еще не профессор...

Тогда же, в день материнского рождения, я нашел его уже дома, причем довольно оживленным. Оказалось, он принес матери из соседнего продуктового магазина торт и бутылку кагора. Потому что мать крепкого алкоголя не пила, да и кагора — одну рюмочку к чаю. Мне же и себе отец в тот вечер молча налил по паре рюмок хорошего армянского коньяка, хотя и не смотрел в мою сторону. И в добродушном выражении его лица, в попытке показать мне, что ничего не случилось, вот и тортом обошлись, я заметил хорошо скрытую легкую брезгливость. Самое ужасное, что, по-видимому, эту брезгливость вызывал у него именно я.

Как девок водить

Дверь я открыл своим ключом, стараясь повернуть его бесшумно, и шепнул ей проходи. Конечно, я понимал, что, коли родители увидят мою пассивность, в восторг не придут. Отец — это вам не вконец состарившаяся бабушка, которая, когда девки бегали из моей комнаты в ванную подмываться, оказавшись не вовремя в коридоре, тихо здоровалась здравствуйте, барышня и ретировалась в свою комнату. Но такое случалось, только если родители бывали в отъезде, не при них же. К тому же такое происходило только во время вечеринок, пусть и весьма нескромных, когда народу было много. Прецедентом несанкционированного появления в моей комнате одной-единственной девицы не могли служить и визиты Танечки, с которой мы еще недавно, год назад, в десятом классе прилежно готовились к экзаменам, запершись на ключ. Нет, здесь было совсем другое дело — привести в двенадцатом часу ночи незнакомую девку, не говоря уже о том, что оба были не трезвы. Все же такого скандала я не ожидал.

Мы проникли в квартиру бесшумно, как мне казалось, точно падшие ангелы, но родители, к моему изумлению, уже выстроились в коридоре, будто поджидали меня. И это было, я как-то сразу понял, знаком концом либерализма и в моем воспитании, и в наших отношениях. Что ж, первую свою сессию я, действительно, завалил. Мать была растрепана, халат поверх ночной рубашки, то есть она не поленилась по такому случаю встать с постели. Потом, во время сцены, мать выкрикнула, что я, чем водить в дом уличных девок, лучше го-

товился бы к переэкзаменовкам; я, помнится, пьяно возражал, что вовсе не уличную, а из кафе Ангара. Мать тогда недобро прищурилась и сказала с отвращением кого-то ты мне напоминаешь... Нет, напоминал я ей не отца, который с улицы девок не водил, да к тому же и стоял рядом: это был тот несчастный случай, когда родители были солидарны, а своих мать не сдавала. Я напоминал ей кого-то неизвестного мне, но, безо всякого сомнения, это был достаточно омерзительный тип...

Возможно, молодость, полоса в жизни человека утомительная и нервная, предусмотрена природой как необходимая и даже полезная стадия становления организмов. Не знаю, в моем случае эта функциональность никак не уменьшила ее болезненности и даже опасности: в мои ранние годы в этот именно период созревания по легкомыслию и непросвещенности мои ровесники подхватывали недуги, от которых подчас страдали потом до самой смерти; по лености и неумеренному потреблению алкоголя и барбитуры закладывали основание своего будущего материального и душевного неблагополучия; к тому ж распространенный тогда глупый романтизм под песню а я еду за туманом гнал их, заставляя бросать учебу, в леса, на горы или в моря, и этот эскапизм потом оборачивался если не тюрьмой и не психушкой, то, во всяком случае, рекрутством. И почти все носились с идеей свести счеты с жизнью. Тот факт, что многие из них до сих пор более или менее живы, связан лишь с тем, что извести самого себя под корень и тем более убить неподготовленному человеку не так-то просто — русский человек живуч.

Семья, школа и даже само коммунистическое государство со всей его идеологической мощью ничего не могли здесь поделать и ничем не в силах были помочь. Разве что, выкинув лозунг молодым везде у нас дорога, отвлечь ненадолго юное переменчивое внимание на спорт или на войну, проще всего — на ненависть и фанатизм, но даже глубокое, казалось бы, увлечение скоро оборачивалось лишь еще более глубоким отчаянием. Я, скажем, был весьма и весьма оживленным и увлекающимся юношей — вплоть до того, что, как это ни странно, на первом курсе мне изредка залетало в голову заниматься; кроме того, в моей специальной школе меня обучали в последнем классе по вузовской программе, что делало освоение университетских наук легкой шуткой,— и это сослужило мне, увидите дальше, дурную службу.

Полное разочарование в официальных идеалах как раз совсем не мучило — мы тогда над ними лишь звонко смеялись, много тяжелее давалось столкновение с миром за окном. Впрочем, меня интересовали вещи весьма далекие и от политики, и от математики, и от, скажем так, народной жизни: стихи, кино, фотография, биг-бит и, конечно, девочки. Однако все это не спасало от приступов ранне-молодого уныния, когда я не мог ума приложить, зачем меня поселили посреди этой уютной страны, дали тело и лицо, казавшиеся то любимыми и прекрасными, то донельзя отвратительными; зачем вручили сам ум, если я глуп и так многого не знаю и не могу понять; зачем сама жизнь, и есть ли Бог, и в чем толк и замысел оружающего мира, и вообще хорош ли я или есть меня лучше? Последнее предполо-

жение, тщательно вытесняемое, прорываясь, повергало в безысходное отчаяние... И одиночество, конечно, и жалость к себе.

Нет, это не был обычный маниакально-депрессивный синдром — грубое практическое изобретение коновалов-психиатров: это были чуткость, нервность, открытость окружающему воздуху, — при самолюбленности и нагловатости, сменяющихся приступами застенчивости и даже мнительности. Вот, скажем, отношения с теми же девицами. Я пользовался у них успехом и — в случае если объект не был с очевидностью совершеннее меня — шел напролом. Это как правило приводило к скорому успеху, здесь проблем бедняги Сереги Гвоздева у меня не было. Но рано или поздно я стал замечать, что потребляемый мною товар, пусть подчас и ярко упакованный, на поверку оказывался, скажем мягко, не лучшего качества, и этот результат неминуем в любой сфере активности, коли человек идет самым легким и до него неоднократно проторенным путем. А расхожий известный мне с отрочества афоризм, что, мол, ухаживание — дело не барское, при известной пытливости не всегда выдерживал проверку. Напротив, выяснялось, что грубое и неразборчивое потребление лиц дамского пола есть как раз удел шоферов и истопников.

Но это сейчас гладко выходит на бумаге, а в семнадцать лет разобраться во всех этих нюансах сложно и нет времени, поскольку вперед влечет слепой и неослабевающий инстинкт завоевания с клинком наперевес. Это уж потом я узнал, что либидо, учил дедушка Фрейд, должно сублимироваться и претворяться в творческий

акт, что за каждую ночь с женщиной, юноша, мы теряем том и что чрезмерный Шопенгауэр призывал вообще отказываться от этого дела, как убавляющего мужской ум. Какой там...

В дореволюционные времена студенты ходили в казенные публичные дома. Или, если повезет, соблазняли родительских горничных. Или тараканили — словцо из семейного лексикона братьев Чеховых — крестьянских девок, пребывая на каникулах в деревне. Большевики отменили стыд и платную любовь, пассия Ленина, воспитанная на идее фаланстера, выдвинула теорию стакана воды, и на смену уличным солдаткам любви пришли комсомолки, и так продолжалось ни шатко ни валко вплоть до того, как российский практический социализм закачался и рухнул. Тут опять возобладал марксистский закон товар — деньги — товар, но блаженная юность моего поколения пришлось, слава богу, на другие времена: бескорыстных доброволок любви было пруд пруди.

Местом охоты я и мои дружки избрали многочисленные злачные заведения проспекта Калинина. Здесь было непредставимо дешево, к тому ж выпивку мы, как правило, приносили с собой, беря в буфете для близира лишь по бокалу дешевого сухого вина, кислого рислинга там или алиготэ. Нам стоило лишь расположиться за столиком, как девицы слетались. Многие были уже знакомы и использованы, но у них всегда находились еще нераспробованные подруги. Конечно, легкость тогдашних отношений между полами была совершенно невозможна старшему поколению: оно кое-что слышало про социалистическую революцию, но про сексуальную

— ни звука. Для нас же проблема была не в том, чтобы найти партнершу — спрос в этой части не догонял предложение,— но куда вести. Хороши, конечно, были ночные скверы летом, теплые парадные и пыльные чердаки осенью и зимой, но эти прибежища годились лишь для скорых собачьих удовольствий. По-видимому, проникнувшись идеей эмансипации, а главное, боясь тем январем отморозить себе задницу где-нибудь в подворотне, я и потащил спяну только что обретенную подружку к себе домой. Ведь я уже был совершеннолетним и, возможно, бессознательно совершал пробный заход, предпринимал своего рода демарш...

Когда девица была изгнана, я не слишком огорчился, хотя, конечно, пожалел, наверное, что не прижал ее предварительно в подъезде. Но она сыграла свою провокативную роль: ситуация накалилась, именно сейчас решалось — отстою ли я свои права. Это мой дом, сказал я веско, как мне представлялось. Лицо отца омрачилось. Здесь нет ничего твоего, сказала мать. И добавила, что если дело так пойдет и дальше, то у тебя никогда ничего своего не будет. Отец же молча разглядывал меня, и глаза у него дрожали. Это твой выбор, сказал он скорее утвердительно, чем задавая вопрос, и намекая, наверное, на изгнанную девицу. Я нагло пробормотал что-то в том духе, что, мол, она мне нравится.

— Иди спать, — сказал он, — завтра поговорим.

Я проснулся рано, испытывая не столько раскаяние, сколько похмелье. Мы позавтракали молча вдвоем с отцом. На лекции идти мне было не надо, начались каникулы, а надо было, действительно, заниматься. Собирайся, сказал отец, и возьми паспорт.

— Ты меня женить хочешь? — попытался сострить я. И в ответ услышал по дороге поговорим. Удивительно, но так жестко он со мною никогда не разговаривал. И какое-то чувство унылого безволия охватило меня, будто я почувствовал, что впереди меня ждет что-то стыдное и унижительное.

Мы вышли на морозную улицу. О какой дороге говорил отец? И куда он меня ведет? Я хочу, чтобы ты показался врачу, сказал он, и я увидел на его лице незнакомое мне прежде выражение не досады, не гнева, но — страдания. Это испугало меня, я здоров.

— Ты живешь, — сказал отец с болью, будто пере-силивая себя, — ты живешь в доме с тремя женщинами...

Мы сели в троллейбус и приехали в венерологический диспансер, который располагался на Мосфильмовской улице. К участковому венерологу тоже была очередь, но все-таки не такая большая, как за пледами. На шатких стульях, выставленных вдоль крашеной зеленой масляной краской стены, смиренно сидели мужчины разных лет. Одни сжимали побелевшие руки на коленях в ожидании диагноза и приговора, другие, пришедшие, видно, на проверку после курса бициллина, глядели пободрее. Висел аллегорический плакат, предупреждающий о катастрофических последствиях случайных связей: разбитная накрашенная девка в соблазнительной миниюбке наступала наглым каблуком на хрупкий стебель цветка. Какой нехорошей болезнью болела девка, оставалось догадываться. Меня вызвали в кабинет.

— Жалобы есть? — спросил веселый, как мне показалось, доктор. Он был без очков и потому, наверное, щурился. На нагрудном кармане белого с желтизной халата было неотстиранное чернильное пятно. — Снимай штаны. Жми от корня... Так, повернись. Пописай в баночку над раковинкой... Так, — сказал он, рассматривая мою мочу на просвет, причем глаза его почти совсем прикрыли веки, будто он получал удовольствие. — Выливай, — отдал он мне мою банку и склонился с ручкой к столу, — сполосни... Поставь не место... Одевайся... Следующий! — крикнул.

— Вы скажите... — попросил я, заикаясь, застегивая штаны, пылая стыдом и унижением.

Доктор встал, подтолкнул меня к двери и крикнул в коридор здоров, папаша...

Мы молча вышли на улицу, не глядя друг на друга. Это унижение он нанес мне в видах воспитания? Или он действительно думал, что я томлюсь тайной болезнью? Я на кафедру, сказал он, а ты — домой? Я посмотрел на него, его суровое страдание сменилось слабой улыбкой, в которой мне почудились жалость и, быть может, тень раскаяния. И я понял, что скорее всего нашей молчаливой близости пришел конец. И мне теперь придется взрослеть одному. И сироту искать путь к дому.

Как греха бежать

Пришла еще одна нервная весна. В сквере на улице Дружбы, что перед китайским посольством, на берегу пруда появилось новое лицо — дама с котом. Кот был рыж и толст, скорее всего кастрирован, гулял на повод-

ке, как шпиц. Животные нас и познакомили: моя фок-стерьериха Топси, забыв на время о прикормленных кусками студенческих булок с изюмом и огрызками школьных пирожков с повидлом диких некогда утках, давно забывших улетать на зимовку на берег турецкий, но не потерявших увертливости, забыв о неприступных шипящих лебедях, проявила к коту самый живой интерес. Прямо скажем, бросилась на него. Кот был недоволен, фыркнул и напыжился, я извинился, Топси, удивляясь, что она же еще и виновата, выслушала мое внушение. Выяснилось, что кота звали Антон, даму — Лика. На коте был ошейник с золотой инкрустацией, на Лике — большая светлая шляпа с полями, похожая на абажур. На этом чеховские реминисценции кончаются.

Сблизили нас события на далекой реке Амур, потому что возле китайского посольства как раз в те дни проходили организованные властями демонстрации трудящихся. Демонстрантов снимали с работы в ближайших НИИ и веселыми, будто их отправили пить и предаваться свальному греху на картошку, дружными колоннами проводили под окнами китайцев. В сторону посольских служащих, одетых в одинаковые синие френчи и время от времени опасливо выглядывавших из-за белых марлевых занавесок, из толпы летели загодя приготовленные пузырьки с разноцветной тушью, наверное, выписанные по линии профкома: посольство долго потом стояло, украшенное потеками, которые упрямые китайцы не смывали. Впрочем, протестующие, хоть и потрясали кулаками, были настроены скорее добродушно, и среди однотипных официальных плакатов руки прочь от Даманского бросался в глаза укориз-

ненный транспарант домашнего содержания что же вы, друзья китайцы?

— Неужели, — сказала Лика, подхватывая кота, который был обеспокоен беспорядками не на далеком острове, а на родном бульваре и дергал толстым хвостом, — неужели нам жалко для них какого-то там острова?

Голос у нее был довольно низкий, будто она много курила, запивая сигареты портвейном. Нам с Топси острова тоже было не жаль. Кстати, три с половиной десятка лет спустя этот самый остров китайцам все-таки подарили, но это к слову... Я был приглашен как-нибудь заглянуть на кофе. И получил номер телефона.

— Если подойдет мама — не смущайтесь, — сказала она на прощание. Думаю — по привычке, ибо вряд ли я выглядел таким уж застенчивым.

Лика обитала здесь же, в доме по соседству, с мамой Капитолиной Константиновной и с тремя котами — обнаружилось, когда я заявился в гости, что, кроме Антона, есть еще два, Иван и мой тезка Ники, — в однокомнатной квартире в обычной советской тесноте и убогости. Пахло кошачьей мочой, рыбой и египетскими духами, взятыми, наверное, в Балатоне. Однако в убранстве и быте этой маленькой семьи было будто воспоминание о несбывшемся: признаки давно забытого уклада и призраки погибшей роскоши — нет, не потерянного в исторических передрягах семейного богатства, но неутоленной тоски по обеспеченной неге: угловые китайские полочки с золотой живописью по черному, уныло свисающие с них желто-серого цвета ручной работы кружева, какая-то безделка из слоновой кости.

Размещение постояльцев квартиры было таково: пожилая мама в бигудях, приветливая, но усталая и будто чуть испуганная, обитала в единственной большой комнате с многими горшками разбегающихся выющихся растений, ее же дочь Лика обреталась в закуте, выгороженном из кухни, — там стоял на подкосившейся ноге торшер с интимно наброшенным на него шелком, там висела книжная полочка, где сбилась стайка однотипных сборничков, скорее всего стихов. Во всяком случае, первой стояла книжка, на обложке которой можно было прочесть Сильва Капутикян.

— Мама кофе не пьет, маме вредно пить кофе, — сказала Лика своим низким голосом в никуда и увлекла меня в закуток.

— Да мне же на дежурство, доченька, — с фальшивой готовностью отозвалась та сквозь стенку, отлично пропускающую звуки. — Не забудь мурзиков покормить.

— Ну мама...

— Рыбка в морозильнике...

— Мама же...

Мне стало понятно, что дамы вряд ли живут, постоянно обдавая друг друга нежностью. Впрочем, пока оставалось неясно, кто кем здесь помыкает.

— Мама работала в музее-заповеднике, — говорила меж тем Лика из-за перегородки, где таились в темноте раковина и кухонная плита. Я, усаженный в ее девичьем закуте на тахту, озирался. На стене передо мной помещалось изображение одинокого треугольного паруса, сделанного из куска дерева более светлого тона, чем тот, который изображал море. — А она была хоро-

шим специалистом, коллектив ее любил, но ее отправили на пенсию, потому что, вы понимаете, Николай, там, где интриги, там не нужны опыт и знания...

— Да уж, — откликнулся я, отгоняя одного из котов, менее авантажного, чем Антон, но более общительного, приладившегося тереться о мою штанину.

К моему удивлению, к кофе Лика успела переодеться в домашний халат с розами, хотя мы были едва знакомы, и дала вафель с розовой прослойкой — такими на полдник, помнится, угощали в пионерском лагере. Наш поезд, похоже, шел без остановок и по назначению. Впрочем, в тот раз я, укусив вафлю, лишь попридержал в руке ее руку и неловко чмокнул в шею, когда мы прощались в прихожей; она улыбнулась и сделала в воздухе неопределенный предостерегающий жест.

Что ж, сообразил я, живет она удобно, две минуты от моего дома; с мамой можно не церемониться; тот факт, что Лика была вполне зрелой девушкой, лет, наверное, на пять-шесть старше, никак меня не смущал — у нее была высокая грудь, широкие скулы, чуть вывернутые покрашенные сдобные губы, крупные, чуть навывкате, темные глаза с выражением затравленной дикости. Когда я спустился вниз, то застал Капитолину Константиновну в закутке возле лифта: по-видимому, она подрабатывала к пенсии консьержкой, как весьма приблизительно называют эту должность сегодня, тогдашнему — лифтершей, что тоже было не слишком точно. Старуха в наброшенной на плечи некогда дорогой шубе из облезлого котика сидела на стуле и вязала, меня она не заметила. Что ж, в конце концов лифтерша

так лифтерша, к тому же она искусствовед, служила в музее, подумал я и спохватился: чем занимается сама Лика, спросить мне было недосуг.

Я был настроен решительно. Я прикинул, что на осаду у меня уйдет еще пара дней, но, когда я позвонил в следующий раз, меня не пригласили скоротать вечерок. Охладили вопросом, есть ли у меня выходной костюм. Я понимаю, Николай, вы студент, но если бы вы были э-э... не всегда одеты... по-молодежному, то мы могли бы сходить с вами в концерт... Костюма у меня о ту пору не было. Не говоря уж о том, что мне была неприятна эта тонность, а в концерт идти я не хотел. То есть против концерта как такового я ничего не имел, Танечка часто заманивала меня вместо пивного бара в консерваторию, но, по моему тогдашнему разумению, люди парами посещают публичные мероприятия лишь после, никак не до. Я понимал, конечно, что мне навязывают ритуал ухаживания, и не было никакой гарантии, что волынка не затянется. К тому же посещение концертов и театров стоило денег, пирожные в антракте, как у Зощенко, то да се, а денег у меня, разумеется, не было, так, можно было бы наскрести на бутылку Токая.

— Костюма у меня нет, — сказал, помнится, я, хоть это признание нелегко мне далось. — А от музыки у меня болит голова. Давайте-ка лучше погуляем с котом...

Она, кажется, все поняла и оценила мою откровенность, приняла, так сказать, мои обстоятельства как факт.

— Что ж, зайдите за мной.

И я действительно зашел к ней, и было мило, мы выпили вина, кот был забыт, мне была разрешена некоторая рекогносцировка. Но когда я распалился, она отодвинулась и сказала:

— Вот вы меня ни о чем не спрашиваете, Николай, я понимаю — вам неинтересно. Вы молоды. А ведь я была замужем... Что вы на меня так смотрите?

Но смотрела на меня как раз она сама своими беспокойными крупными глазами.

— Да, — сказал я, разглядывая ее колени. Эти семейные подробности мне на самом деле были сейчас ни к чему, у меня уже ныло в паху.

— Почему вы не спросите, отчего я разошлась?

— Отчего же? — спросил я глухо, сглатывая слюну и опять подбираясь к ней поближе.

— Ах, брак — это так скучно, — потянулась она и вдруг схватила меня за руку. — Ведь сегодня он хочет, а я нет — вот что. А завтра наоборот. Мужчины капризны — вот почему. — И она расхохоталась, откинувшись. А потом опять повернулась ко мне, держа в пальцах бокал. — За вас, Николай. Как вас называет мама?

— Зайчик, — откликнулся я, полагая, что сострил, хотя в добрые минуты маменька именно так меня и называла. Теперь, правда, все реже. Лица как-то вдруг огорчилась, и слезы показались у нее на глазах. Наверное, она не совсем в себе, подумал я. Но это наблюдение тоже совершенно не расхолаживало. Скорее напротив. Мы чокнулись.

Тут вошла мама, позванивая бигудями.

— Вино пьете, ну вот, — сказала она.

— Ну мама, — сказала Лица.

— Вот-вот, — отозвалась та и удалилась. Я отчего-то подумал, что в молодости старуху называли, по всей видимости, Капа.

— Вы мне нравитесь, зайчик! — засмеялась Лика и промокнула слезинку в углу глаза указательным пальцем. — И ваш пес такой симпатичный.

— Это она, — сказал я. — Сука.

— Ну да, она. — Лика опять посмотрела на меня прямо своими выпуклыми глазами — на этот раз она была сосредоточена. — Но знаете, вот что я вам скажу, — понизила она голос, — сегодня у меня месячные... Уж простите. — И она снова хохотнула, будто процитировала нечто из книги занимательная гинекология. Эта ее деланная прямолинейность и рассчитанная бесшабашность не расхолодили меня. Хотя оставалось неприятное чувство, что она меня испытывает. И что мама, оказывается, может появиться в любой момент.

Впрочем, не только ведь похоть заставляла меня звонить ей и приходить. Хотя, конечно, я выжидал момент, понимая, что она просто жеманится и до времени играет со мной. Нет, помимо всего прочего мне стало казаться, что с ней мне как-то спокойнее, чем в открытом мире. Сидишь себе под шелковым торшером, вокруг снуют коты — священные животные у египтян, пахнет кофе, кошачьей рыбой и духами. А рядом взрослая томная женщина ломает милую комедию, готовясь тебя совратить... Я не задавал себе вопросов: есть ли у нее еще кто-нибудь и на что она живет? Мне просто нужно было передохнуть: так по пути присаживаются на лавочку старички, когда идут в дальний магазин за кефиром. Наверное, в свои восемнадцать я взял слишком

бодрый старт. Или дело в том, что была весна, напряжены нервы, снег уже сошел, голая земля, и на виду оказались весь зимний мусор и грязь... Я даже на Калининский перестал ходить, валялся с книжкой на диване, когда удавалось увильнуть от посещения лекций, а от Лики возвращался домой не поздно и трезвым, и моя мать, подозреваю, втайне беспокоилась: уж не заболел ли я?

То, что настал мой день, я понял по торжественной интонации Лики, сообщившей мне по телефону, что сегодня мама дежурит. Конечно, это сообщение носило ритуальный характер, мама здесь была ни при чем; но все-таки хорошо, что она не заявится и неожиданно не скажет свое ну вот. Я поскреб бритвой пух на щеках, наодеколонился, выпросил у матери пять рублей, приобрел бутылку шампанского и зефир в шоколаде. На цветы мне не хватило.

Я обнял Лику уже на пороге, проник под халат, на ней была шелковая комбинация, таких, увы, теперь не носят, и я успел подсмотреть — черная с кружевом, а под комбинацией, кажется, не было ничего, да-да, ничего... Лика прервала наши объятия криком рыба, рыба! На плите действительно булькал и страшно вонял рыбный суп для котов. Коты вились вокруг Лики, которая сделала высокую прическу, вздыбив волосы, водили хоровод, мурлыча. Я присоединился. Торшер уже тлел. Я поставил на столик зефир и шампанское, от запаха супа меня мутило. Сейчас, сейчас, доносилось из-за перегородки, и слышался стук кошачьих мисок. Я опустился на тахту и чуть не стукнулся затылком о стенку — тахта была разложена. Смешанное чувство испытывал я —

будто не туда попал. Возможно, меня смущала хозяйкина деловитость. Лика вбежала и уселась прямо мне на колени, отчего я опять не удержал равновесия. Положение было соблазнительным, я принялся подминать ее под себя. Не сейчас, не сейчас, возопила Лика, налей же шампанского... И потом, добавила она таинственно и нажала указательным пальцем правой руки мне на кончик носа, ты еще не был в ванной... Ноготь на ее пальце был в лиловом лаке. А я заведу музыку...

Собираясь к ней, дома я предпринял тщательный душ. Но это было уже неважно. Под звуки твиста Бабаджаняна я отправился и миновал кухню. Коты жрали. Я прошел мимо ванной и, крадучись, вышел в переднюю. Тихо открыл дверь, прокрался на лестничную площадку и припустил вниз по лестнице...

Во дворе, как сказано, была весна и дул ветер. Глаза слезились. Я впервые в жизни испытал упоительное чувство побега. Руки прочь от Даманского. Я отчетливо осознал, что отныне побег станет неотвратим и постоянен, а сам бег, иногда замедляясь, неостановим. Сын человеческий не знает, где приклонить ему голову, не слось в голове. Пахло будущей черемухой, но сады еще пустовали. Мисюсь, где ты?

Как делать аборт

Звали ее Ира, она напевала:

Аскорбинки десять грамм,

А потом — Грауэрман.

Это она, конечно, храбрилась. Быть может, она в свои двадцать лет и не в первый раз залетела, наверня-

ка не в первый, но все равно страшно. Мы же с Костей пребывали в легкой панике. Потому что на вопрос, который мы ей задавали, перетаптываясь и краснея, от кого, она, похохатывая, отвечала:

— Да от обоих!

Мы подружились с ним на втором курсе. До того он поступил на мехмат, делал успехи и подавал всяческие надежды, однако когда у него от рака умерла мать, он наконец-то потерял невинность. Это был тот самый Костя Каменец, у которого мы в детстве в школе списывали задания по арифметике, а потом поколачивали во дворе за ябедничество, и он в отместку швырял из окна нам на стол для пинг-понга гнилые сливы. Но тогда это был отличник-недомерок, вундеркинд и маменькин сынок, а теперь стал рослым красавцем с широкими плечами, с гордым профилем и прекрасным густым коком. Общаться с дамами ему так понравилось, что в конце второго курса его, парня очень способного, отчислили-таки из университета за неуспеваемость. Мы дружили и соревновались, потому что у каждого было слишком много амбиций и ни один не хотел уступать. В течение года-двух виделись чуть ли не каждый день, до одури спорили, который из двух романов Воннегута лучше, он был за Колыбель для кошки, я настаивал на Бойне №5, предавались разврату на пару и однажды, подступив друг к другу с кулаками, договорились, что он, Костя, умнее, зато я — талантливее. И этот пакт держался, пока мы не разошлись — так же неожиданно, как когда-то сблизились.

Но это было потом. А тогда эту самую Иру я подцепил на Калининском все в том же кафе Ангара и привез

к Косте в его большую квартиру — свободную, поскольку его вдовец-отец, проректор Института стали и сплавов, часто оставался на ночь у своей секретарши. И, что было важно, всегда предупреждал по телефону, коли желал навестить к себе домой сменить костюм и галстук. Впрочем, Костя, скорбя по матери, к своему фазеру относился без почтения, потому, кажется, что презирал за плебейское происхождение и воспитание, за трудовой путь от мартена в Кривом Роге до номенклатуры, считая при этом самого себя другой крови.

Девчонка была из рабочей окраинной семьи, нрава самого легкого и уже месяц как служила курьером в Министерстве легкой промышленности, это было в ее годы далеко не первое место службы. Министерство располагалось здесь же, обок с кафе, в котором она проводила вечера, пользуясь успехом, — у нее была замечательная грудь и светящееся радостью смекалистое личико. Однажды появившись у Кости, она стала бывать там чуть ли не через день, по ночам курсировала между нашими комнатами и нашими постелями и как-то за завтраком, еще не зная, что беременна, спела нам частушку:

Наши девки — первый сорт,
Сами делают аборт,
Вилками, тарелками
И гвоздями мелкими...

Ее, если б чуть окультурить, можно было бы назвать красоткой. Когда она утром сидела за столом на кухне в мужской, мешком сидящей байковой ковбойке с закатанными рукавами, с торчащими из них худенькими запястьями в синих жилках с исподу, с мокрыми

после душа мелким бесом вьющимися каштановыми волосами, с поджатой под белый голый зад светло-свекольной пяткой, с тоненьким прямым носиком и бордовыми губками, с быстрыми голубыми сияющими глазками, и болтала без устали — я любовался ею. Но мне бы и в голову не пришло в нее влюбиться, и не только из социальных обстоятельств — это тогда в расчет не принималось. Просто ее любовь, если можно так назвать непритязательные физические упражнения, которым она предавалась со всем азартом молодого здорового организма, была до поры лишь выражением приязни к миру, между мужчинами она не делала различий, называя их всех собирательно мальчики, а я, как юноша романтичный, не мог избавиться от поползновений придавать половым отношениям личностный оттенок. Кроме того, ею никак невозможно было помыкать, хотя она никогда не спорила и не дерзила, но, смеясь, увертывалась от каких-либо обязательств и всегда оказывалась не там, где ты ее оставил.

Впрочем, в большинстве случаев на нее можно было положиться, во всяком случае, до тех пор, пока, как игривой и нежной киске, ей было вольготно, весело и сытно. Даже Костя, будучи юношей избалованным, брезгливым и привередливым, ей как-то сразу доверился, причем настолько, что согласился принять ее в нашу компанию, о чем ни он, ни я до поры до времени ни разу не пожалели. Быть может, его забавляли ее натуральность и нетронутость никаким воспитанием и обучением, что он, по своему высоколюбию, принимал за восхитительный и прихотливый цинизм, но это было лишь прекрасное и бездумное краткое цветение. Так

или иначе, до поры до времени Ира стала нашим доверенным дружкой. Она шлялась с нами по кабакам и помогала снимать приглянувшихся девчонок, причем, когда нужно, изображала пассию Кости, а когда нужно — мою, по обстоятельствам. И так продолжалось вплоть до того дня, когда с очевидностью обнаружилось то, что обнаружилось, а она простудушно утешала нас: ну и что, залетела, с кем не бывает, у нас все девчонки — ковырялки...

Мы не очень понимали, что она хочет сказать, а Костя, как человек, не в том месте перебежавший через дорогу и угодивший под машину, искренне недоумевал, как же это могло случиться. Но я был опытнее, я лишь мудро заметил, что это должно было произойти рано или поздно, ведь никому из нас и в голову не приходило предохраняться. Он все переспрашивал ее с надеждой, не ошиблась ли она и откуда она знает.

— Да у меня уж полтора месяца, — отвечала та бесшабашно, — гостей нету.

Мы и про гостей не понимали, но чувствовали, что дело наше совсем худо. Помню, Костя спрашивал меня трагическим шепотом беременели ли от тебя когда-нибудь женщины. Я ерничал в том духе, что если и да, то мне об этом неизвестно. От меня тоже нет, сказал Костя. И мы пришли в расстройство, а Костю так и вообще охватила легкая паника. Конечно, мы искренне полагали, что все это дела женские, никак нас не касающиеся, но, с другой стороны, постепенно убеждались, что деваться нам некуда, поскольку было ясно — наша Ирочка по своему легкомыслию сама ничего предпринимать не собирается.

Более того, она как ни в чем не бывало, прихлебывая вермут, взяла моду шутить, мол, а вы меня оба замуж возьмите, в чем нам уже мерещился плохо завуалированный шантаж и чудилась неминуемая беда. Костя вскакивал из-за стола с затуманившимся глазом вспугнутого грача, с перекошенным от отвращения лицом и с приступом, казалось, подступавшей тошноты, — ведь это был тонкий и чувствительный мальчик, и номенклатурный папа хотел его женить на дочери второго секретаря обкома, курировавшего в столице высшее образование. Поэтому Костя как раз в то время делал попытки учиться играть в теннис, а летом собирался в цэковский санаторий на Кавказ — знакомиться с династийной невестой, которую еще в глаза не видел.

— Нет, — говорил Костя, когда мы оставались вдвоем, — она так просто не отстанет. Что же делать, что же делать?..

Да и я, признаюсь, был напуган. Потому что было ясно, что пустить дело на самотек никак нельзя, иначе все неминуемо кончится скандалом. Нет, утопить ее, как поступил со своей подругой герой Драйзера, нам в голову не приходило, мы просто-напросто решили заставить ее сделать аборт, что было, собственно, единственным возможным решением. Вот только мы ровно ничего не знали об этой операции.

— Да что ты, Костенька, волнуешься? — ответила она, когда он взял на себя бремя объявить ей об этом. — Вот допью и съем двести грамм петрушки. Нет, килограмм. Потом залезу в горячую ванну с горчицей, и все из меня выльется... — И, увидев наши удрученные лица: — Какие вы, мальчишки, смешные...

Но нам было не до смеха. Мы, мальчики городские, не доверяли ее народной рецептуре, здесь наверняка нужна была более надежная, чем огородная петрушка, более тонкая и редкая фармакопея. Костя позвонил бывшей сокурснице, которая тоже некогда побывала его наперсницей, та спросила — какой срок.

— Срок какой? — прошипел Костя, закрывая трубку рукой.

— Какой срок? — не понял я.

— Беременности срок.

— Полтора месяца, она сказала.

— Ага, — подсчитала Костина confidentка, — шесть недель, значит. — И дала заветный адресок.

Нет, речь шла не о подпольном абортарии, в которых, по слухам, брали большие деньги, но о гомеопатической аптеке, располагавшейся, как оказалось, неподалеку, почти под носом, на Ленинском проспекте. Костя записал под диктовку названия магических семи травок, я и сегодня помню начало списка, волшебные слова туя, апис, пульсатила...

Помню, мы приехали в аптеку вдвоем, но долго не могли подойти к окошку. Наконец я с самым заправским видом решился, наклонился и спросил даму в белом халате, есть ли? Оказалось — есть. И недорого, в цену литра итальянского вермута из магазина Балатон, так примерно. И давали без рецепта.

— Схему знаете? — спросила меня дама насмешливо, или это мне так показалось. — Читайте инструкцию...

Инструкцию по применению мы с Костей выучили на зубок. Там было расписано, как глотать эти малю-

сенькие белые шарики — по три зараз из каждой из семи коробочек. И так неделю. Когда мы все это расписали Ирочке, она лишь пожала плечами: ну фигня это, конечно, лучше пропариться и ковырнуться... Но первую порцию шариков проглотила.

— Вот что, — сказала она, — мне девки говорили, что лучше все сразу, чтоб кровь быстрее бежала. Значит, так, стакан водки, ваши зернышки эти, петрушка — и в ванную.

Мы зря ее послушались, потому что после стакана водки с петрушкой и нашими травками в ванне ее долго и бурно рвало. Костя сказал, что теперь травок не хватит на полный курс, но я заверил его, что коли будет надо, то еще прикуплю... Стоит ли говорить, что на молодой цепкий девичий организм все эти средства не произвели ровно никакого впечатления. Разве что она стала бледная и осунулась и ее то и дело тошнило. Один раз, слабо улыбаясь, она сказала, выйдя из туалета, что вроде да, кровь показалась. Но вскоре сообщила, что это ей, наверное, почудилось. И мы убедились, что она водит нас за нос.

Время шло. Даже мы это понимали. Костя продал в букинистический материнское полное собрание сочинений Диккенса, вышло что-то около пятидесяти рублей, и мы решили отправить нашу Иру на операцию. Она, впрочем, кажется, совсем забыла о своей беременности. Оставалась беспечной, хоть и несколько заторможенной, попрыгуньей — во всяком случае, так казалось со стороны. Когда через всю ту же бывшую сокурсницу все было договорено и мы объявили Ирочке приговор, наша девочка ни словом не возразила, только

побледнела, обычная озорная улыбка сошла с ее лица, но она не заплакала. Она только тревожно спросила, заглядывая в зеркало и обращаясь почему-то ко мне: думаешь, я останусь... красивая? И здесь во мне тупо шевельнулась догадка, что это моя девочка и у нее в животе, возможно, уже шевелится мой ребенок. Но тут же и исчезла, как плеснувшая на песок волна, и след ее скоро высох... Однако отвезти ее в больницу пришлось именно мне, потому что Костя сказался больным, был и вправду бледен.

Я, не зная, что для нее сделать, купил ей с собой мандаринов и бутылку все того же вермута. От вермута она отказалась. У дверей больницы сказала пока. Ступила, не оборачиваясь, во вращающиеся двери, придерживая правой рукой спортивную сумку на левом плече... Она пообещала махнуть мне из окна, когда ее приведут в палату, но все окна больницы оставались закрыты, даже те, в которых горел свет. Наверное, забыла, решил я, но не уходил до темноты и, сидя на лавочке в ближайшем сквере, выпил в одиночестве почти всю бутылку из горлышка...

Стоит ли говорить, что и Костя, и я скоро забыли о ней. Во всяком случае, будучи вместе, не вспоминали. И она Косте не звонила. Недели чрез две или три я сам, найдя ее телефон, которым, впрочем, ни разу не пользовался, позвонил все-таки ей домой. Трубку взял какой-то мужчина, наверное, отец, и, помолчав, просто и глухо сказал:

— Иры больше нет с нами. — И повесил трубку.

Я бросился звонить Косте, но его не было. И свет в его квартире не горел. Больше я не звонил ему никогда,

решив, что ему незачем обо всем знать, потому что это я ее потерял. И он мне не звонил. А потом мы разъехались из нашего двора. Много позже я однажды все-таки наткнулся на его след. Как-то меня свели с одним издателем-осетином, который занялся этим бизнесом, прогорев, кажется, в ресторанном. Он ничего не понимал в своем новом деле, но хорошо считал деньги, поскольку книги более или менее продавались, особенно поваренные, а рукописи читала его жена Даша, застенчивая, с большими круглыми глазами в темных кругах, маленького росточка гимназистка лет сорока пяти и в стоптанных туфлях. Она-то неожиданно и передала мне привет от Кости Каменца, с которым, по ее словам, познакомилась, когда гуляла с собакой, поскольку они жили в одном доме. Значит, бедняга до седых волос все ублажал чужих немолодых жен, которые, быть может, коли муж оказывался в отъезде, варили ему суп, гладили рубашки и, чем черт не шутит, носовые платки.

Как уйти красиво

Мне было некому рассказать об этой смерти, в которой я не мог себя не винить. Совсем некому. Я был сиротлив и одинок, как парус, белеющий в тумане, говоря словами Бестужева-Марлинского, болезненно возбужден и подозрительно весел. Душа дрожала. Шляясь по городу, я бормотал про себя слова прилипчивого романса:

Как упоительны в России вечера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки,
Любовь, шампанское, закаты, переулки,

Как упоительны в России вечера...

Вчера отец увез семейство за город, под Звенигород, открыв дачный сезон раньше запланированного, чтобы никто тебе не мешал заниматься. Он оставил мне денег на жизнь на краю своего письменного стола в кабинете, но, уезжая, по рассеянности запер кабинет на ключ. Естественно, я взломал замок, цапнул сумму и теперь был немножко пьян. Мне предстояло сдать правый зачет по историческому материализму и пересдать однажды уже проваленный экзамен по интегральному исчислению. С чем перейти на третий курс и отправиться с дружкой юности Серегой Черным в Гурзуф бродяжничать, дышать морским ветром полной грудью, ночевать где придется — чаще всего на территории пионерского лагеря Артек — и нравиться незнакомым девочкам. Загвоздка была в том, что я не только не умел брать интегралы, но смутно представлял, что это такое. Нечто, обратное диффурам,— вот все, что мне было известно. За оставшиеся несколько дней я никак не смог бы освоить этот предмет, а потому вся моя жизнь была окончательно кончена.

Идя по Грецевец, я завернул в мой старинный дворик и нашел все родное и знакомое стоящим по местам. И старый, ржавый гараж, и хромоногую двухэтажную деревянную постройку буквой Г, где на втором этаже я некогда играл в фанты и смотрел чужой телевизор, и наш красного кирпича дом, благородно и сдержанно увитый темнолистым плющом. Того мальчугана, которым я был тогда и который выскакивал из подъезда вовсе не с тем, чтобы идти через дорогу в третий класс школы имени наркома Фрунзе, а с иными, хоть и неяс-

ными намерениями, я хорошо знал и помнил, он был мне когда-то симпатичен, но теперь казался несносен. Я озирался вокруг с волнением, будто прибыл после долгого отъезда, потому наверное, что в даже в ранней молодости десять лет, которые отделяли меня сейчас от моего детства, вполне могли сойти за целую прожитую жизнь...

Только что был мелкий скорый дождь, клумбы еще пахли свежей землей и листвой маргариток. Я вышел в калитку, которая так и не закрывалась все эти годы, увидел не сменившегося часового у стиля модерн начальственного особняка, похожего на пасхальный кекс с глазурью, прошел мимо неприступного голого здания Генерального штаба, оказался на бульваре, у стоящего Гоголя. Благоухал прибитой пылью нагретый с утра асфальт; все в тихой влажной зелени, стояли деревья; крашенные масляной краской в голубое изогнутые щелястые лавочки блестели мелкими слезами. Моя память со странной поспешностью, будто воруя, узнавала знакомое. Лет шесть назад вот здесь, на Арбатской, в кинотеатре Художественный давали Ленин в октябре, но при выходе в фойе удалось, как я натренировался еще раньше в кинотеатре Кадр, затаиться и спрятаться от билетерш с тем, чтобы попасть на следующий сеанс — до шестнадцати. Название на афише ничего не говорило, что-то шведское, по слухам — с этим самым, недаром вход воспрещен, но в свои тринадцать я вышел после этого сеанса на улицу на дрожащих ногах. Ни один фильм не сотрясал так все мое существо, как только что увиденный, даже Затмение того же времени. Это была Земляничная поляна.

Я отправился дальше, ступил на следующий бульвар, андреевский Гоголь скромно сидел слева, спрятавшись в палисаднике. Остановился напротив Домжурра. Вспомнились давнишние здешние байки, — их мне рассказывал мой троюродный брат Шурка Щикачев, — из московских Щикачевых, — который всю жизнь провел в доме по соседству. Но к Щикачевым мне сейчас не хотелось заходить, потому что мне не хотелось заходить никуда.

Я вышел к Никитским Воротам. Отсюда для меня было только два пути: прямо, мимо Тимирязева и дальше, где кафе Лира, а через улицу — Пушкин в зеленой плесени и с голубем на голове, или направо, потому что налево, где венчался Александр Сергеевич и где за углом в мавританском дворце отравили Горького, были уже не мои места. Я свернул направо, на Герцена. Когда я дошел до Консерватории, по другую сторону улицы нашел дом бабы Кати и на втором этаже — два немых окна, за которыми мы недолго квартировали с бабушкой, пока родители, свернув жилье в Химках, ждали, когда, наконец, разморозят строительство дома, в котором мы прозябали и поныне... Когда я вернулся к Никитским, то увидел ее — афишу польского фильма Все на продажу на фасаде кинотеатра Повторного фильма.

Я зашел в кассы, здесь не было ни одного человека. Фильм шел в красном зале, а билет на дневной сеанс стоил пятнадцать копеек. Это была лента памяти артиста Цыбульского, которого в фильме не было, поскольку до того он погиб. Неважно, что его не показывали, я отлично помнил его лицо и его фигуру по Пепел

и алмаз, и по Поезду, и по Как быть любимой, и его черные очки, и знаменитую ветровку. В Поезде его герой тоже погибал, так что эта роль стала для Цибульского пророческой. Но в жизни все случилось еще лучше и ярче, потому что артист погиб, стремясь за своей возлюбленной, уезжавшей на скором поезде в далекий от Польши Париж. Это была Марлен Дитрих, и что с того, что она была тогда старше его на двадцать семь лет...

Все на продажу был фильм о невозможно прекрасной и безысходной задыхающейся жизни молодого мужчины, родившегося с клеймом избранничества. Молодой старатель золота неверной славы рыжий Ольбрыхский весь фильм искал своего соперника, но тот ускользал, был только что — и уже его нет. А не найдя, невозможно было убить короля, сместив таким образом с трона, и нельзя было его подменить, догадывался несчастливый преемник, под его и только его счастливой и роковой звездой... Станным током проходил сквозь мою душу этот жестокий последний фильм, меня обжигало и трясло, потому что мне безжалостно рассказывали с экрана, что скорее всего вот так и мне, как этому рыжему, не суждена любовь самых красивых женщин на свете, и недостижима останется Малгожата Потоцкая, не суждены слава и зависть менее талантливых, и не будет мне места в мире, где все до головокружения всерьез и по-настоящему и где недоступные мне чувства испытывают недостижимые люди. Лишь нелепый грязноватый мир, который окружает меня сейчас, мир без бога и слез вдохновения, мир лжи, мелкого воровства и скучной повседневной жестокости — этот мир дан мне навсегда, и скоро, совсем скоро он погло-

тит меня, переварит и сделает неотличимым... Жмурясь от яркого света на выходе из просмотрового зала, я еще не знал, что мне делать, но был в том состоянии, в каком согласно легенде выходили с концертов Паганини будущие самоубийцы.

В магазине Армения я купил пузатую бутылку Арарата. И увидел стоящего в очереди за сыром Юрочку Коржевского, которого не встречал со школьных времен. Нет, сыр мне не был нужен, облакиныплыли и рыдали, к нему я тоже не стал подходить. Я взял такси и поехал на Ломоносовский. Я обошел все три наши пустые сейчас комнаты, как в последний раз, и еще раз взглянул на подоконник на кухне, где некогда стоял аквариум бедных Михайловых и где сейчас полз одинокий рыжий таракан. Вот уж кто наверняка никогда не увидит фильмов Вайды: ни таракан, ни Михайловы... На своей полке я отыскал серый растрепанный том Блока из серии Библиотека всемирной литературы, потому что как же без Блока кончать с собой. Впрочем, и не глядя в книгу, я мог прочесть:

Вот девушка,
Едва развившись,
Еще не потупляясь, не краснея,
Непостижимо черным взглядом
Смотрит мне навстречу...

Девушку я видел с последней пугающей ясностью, как и ноздреватый серо-коричневый, с подпалинами рыжего мха, выветренный камень Семптимия Севера, потому что и в Италии под дрожащими тополями я сейчас сидел в последний раз. Я пустил воду, чтобы наполнялась ванна, открыл бутылку коньяка, разделся. Под

зеркалом, измазанным зубной пастой, я нашел обыкновенную безопасную бритву, которой не терпелось стать опасной. Кажется, именно так кончил мудрец Сенека. Оказалось, мне не потребовалось усилия воли, чтобы чиркнуть себя под локтем по вене левой руки. Была краткая боль, но я погрузил руку в горячую воду. Медленно бегущая с небольшими толчками кровь мешалась с пеной от детского Будузана, купленного все в том же магазине Балатон. Я читал знакомые стихи, прихлебывал из бутылки, вода в ванне делалась красной. Потом уж шептал по памяти:

Пробегают мышь,
Черная на сером в час вечерний,
Пробегают мышь,
Серая на черни...

Сладкий туман, как поют здешние менестрели, застилал сознание, левой руке было тепло, и я не помню, как потерял сознание. Конечно, я не мог слышать, как отворилась входная дверь и на пороге ванной комнаты оказался мой отец.

впервые опубликовано «Октябрь», 2006, №3 и
«Октябрь», 2007, №